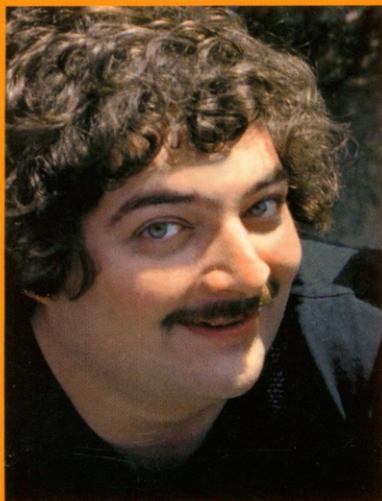


И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ



Дмитрий
БЫКОВ

И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ



Дмитрий
БЫКОВ



Дмитрий БЫКОВ
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ



Дмитрий БЫКОВ
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ
сборник интервью

Москва ПРОЗАиК 2009

УДК 882-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Б95

Оформление С.А.Виноградовой

Быков Д.Л.

Б95 И все-все-все: сб. интервью. Вып. 2 / Дмитрий Быков. — М.: ПРОЗАиК, 2009. — 336 с.

ISBN 978-5-91631-038-2

В сборник «И все-все-все» (выпуск 2) вошли интервью разных лет, взятые журналистом, писателем и поэтом Дмитрием Быковым у известных политиков и деятелей культуры — Василя Быкова, Бориса Гребенщикова, Александра Яковлева и многих других.

УДК 882-4

ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-91631-038-2

© Быков Д.Л., 2009

© Оформление. ЗАО «ПРОЗАиК», 2009

Содержание

Юз АЛЕШКОВСКИЙ	7
Аркадий АРКАНОВ	16
Александр БАШИРОВ	29
Василь БЫКОВ	38
Вера ГЛАГОЛЕВА	53
Григорий ГОРИН	64
Даниил ГРАНИН	78
Борис ГРЕБЕНЩИКОВ	88
Георгий ДАНЕЛИЯ	101
Татьяна ДРУБИЧ	118
Илья КОРМИЛЬЦЕВ	132
Лев ЛОСЕВ	140
Ирина МУРАВЬЕВА	164
Булат ОКУДЖАВА	177
Ольга ОКУДЖАВА	192
Валерий ПОПОВ	204
Александр ПРОХАНОВ	215
Сергей СОЛОВЬЕВ	230
Игорь СТАРЫГИН	241
Леонид ФИЛАТОВ	252
Карен ШАХНАЗАРОВ	266
Роберт ШЕКЛИ	279
Виктор ШЕНДЕРОВИЧ	291
Александр ЯКОВЛЕВ	320

Юз Алешковский

Об Алешковском и языке писали много, научно, пафосно. Не станем повторяться, заметим лишь, что поэт и прозаик Юз (Иосиф Ефимович) Алешковский значительно обогатил нашу речь. Помимо хрестоматийного «Товарищ Сталин, вы большой ученый», которого и так хватило бы на оправдание целой жизни, он сочинил столько пословиц, поговорок и переиначенных классических цитат, что цитировать их бессмысленно — не хватит журнала. И слава Богу. Их нельзя цитировать в журнале, даже либеральном.

Но Алешковский еще и настоящий прозаик, единственный — не считая Войновича — продолжатель традиции сатирического романа в современной русской литературе. И человек большого ума, что признавали другие люди больших умов в диапазоне от Бродского до Макаревича. Как все такие люди, он не высокомерен. Чего ему самоутверждаться за счет окружающих? Он уже самоутвердился, в народ ушел, чего же боле?

— Мы будем разговаривать или трепаться?

— *Трепаться, конечно.*

— О'кей, поехали.

— *Есть мнение, что идеальный писательский характер во многих отношениях близок к воровскому, блатному. Вы варились в обеих этих средах, — это так?*

— Не думаю, что у писателя может быть много общего с блатным, потому что в блатном характере есть много чего, в том числе ужасного. Но одно их роднит обязательно, отсюда взаимное уважение и как минимум интерес. Это — авантюризм. Хороший писатель должен быть авантюристом, иметь, так сказать, душок.

— *Вас называют — и не без оснований — знатоком языка и даже его чувствилищем. Что тут без вас делается с нашим языком?*

— Вам видней, я живу на отшибе. Вы не представляете, какое наслаждение погружаться в московскую среду, где я не «понимаю» язык, — понимаю я английский, — а впитываю его, дышу им, плаваю в нем и т.д. Внешних, поверхностных тенденций вижу две: еще в девяностые началось облатнение языка, что бывает и хорошо, поскольку блатная речь точна, энергична, стилистически ярка; вторая тенденция — заимствования, что тоже хорошо, поскольку язык есть океан, в нем всему находится место, и он сам свою биосферу всегда отрегулирует. Я всегда говорил: плохих слов нет — есть плохие люди. Есть и более глубокая тенденция, неочевидная, связанная с тем, что многие люди пользуются не своим языком, их речь неорганична, они говорят так, как принято, и т.д. Русский язык, с его бесчисленными и очень разными пластами, это заостряет и проявляет, и неорганичность вылезает сразу же. И у государственного человека, говорящего по-блатному, и у блатного, говорящего по-государственному.

— *Заметно ли со стороны, что в стране стало меньше, как бы сказать, воздуха?*

— Со стороны никакого особого зажима не наблюдается. Власть хочет наводить порядок, но это ведь ее всегдашнее желание. Естественное. Она никогда ничего другого не хочет, и ничего дурного в наведении порядка нет. А вот холуйство — это вещь противоестественная, потому что противостоять этому желанию власти должны нормальные люди, не желающие всегда и во всем соблюдать ранжиры. Этого холуйства я вижу очень много. Русская самоцензура страшнее цензуры. Многие страстно жаждут лизать жопу. К счастью, в русском обществе всегда есть некоторое количество гиперактивных людей, не вполне поддающихся ранжированию. Кстати, я и сам был в молодости такой... гиперактивный. И не знал, что это синдром. Мне казалось, это свойство характера. Я и в лагерь загремел потому, что мы с друзьями — я служил на флоте — угнали автомобиль секретаря парткома. Не чтоб украсть, а чтоб быстрее доехать, на поезд опаздывали. Кто знал, что он автомобиль секретаря? Нас остановил патруль, мы подрались с патрулем, я размахивал ремнем, кричал «Полундра!»... Получил четыре года. Мог получить меньше, но ушел в глухую незнанку — «Был смертельно пьян, ничего не помню». В лагере было значительно легче, чем во флоте. Во флоте я непрерывно залетал на губу. Армейская дисциплина не для меня совершенно.

— *В России сейчас много спорят, кстати, — вот и «Огонек» писал: надо ли лечить гиперактивных детей?*

— В Америке лечат — и спорят. У меня есть приятель, священник и кандидат физматнаук...

— *Частое, кстати, сочетание.*

— Да. И у него сын. Как раз с гиперактивностью. Был жуткий совершенно ребенок. Пропил курс таблеток. Потом отец сказал: хватит, он стал какой-то вялый. И таблетки отменил. Но ребенку они уже помогли — это стал отличный парень. Они живут в Штатах, но его очень почему-то тянет в Россию, это лето он проведет в русской деревне. Я вот только что с ним общался, когда к его отцу ездил — это в четырех часах езды от нас — за березовыми вениками.

— *Зачем вам там веники?*

— Париться, естественно.

— *Где?*

— Я выстроил баню. То есть это некорректно — выстроил. Ее строил мой друг, мастер золотые руки, специалист по реставрации старинных музыкальных инструментов. Баня, думаю, — самая низкоквалифицированная работа, которую ему случилось выполнять в жизни. Я был у него на посылках, сверлил дрелью дырки, где он говорил, и забивал гвозди. Теперь у меня вообще совсем Россия. Огромный луг. Озеро. Банька на берегу. Дубы с трехэтажный дом высотой. Вру, не совсем Россия. Больше похоже на Западную Украину или на русский юг. В лесу плюща много, ядовитого, ненавижу его. Березы есть, но черные, это совсем не тот запах.

— *Ничего, я закурю?*

— Не надо бы лучше. Я курил тридцать лет, с десятилетнего возраста. И не курю уже гораздо дольше. В шестьдесят девятом году вдруг как отрезало, началось что-то вроде аллергии на табак. Весь рот от него стягивает. Я почему уехал-то из России? Я боялся, что меня посадят. Пихнут в общую камеру. Там все будут курить. И я от своей аллергии задохнусь.

— *За что вас было сажать? «Николай Николаевич» — невиннейшая вещь. И очень советская, в смысле патриотическая, по-моему...*

— Нет, она не советская, конечно, но и не анти-советская, если не считать рассуждения об антинаучности. Но у меня тогда были и другие книжки — «Кенгуру», в которой сатиризация советского строя дошла до гротеска, и «Рука», за которую мне точно дали бы лет пятнадцать. За меньшее давали двенадцать. Хотя они меня почему-то не трогали, и я даже догадываюсь почему. Им нравилось. Что песни они пели — там, в ЦК, — и меня, и Галича, и Высоцкого, — это все знали. Ну а что ж они, не люди? У меня в «Руке» был лозунг — «Свободу Политбюро!». Эту свободу они могли себе позволить, а в остальном жили не привольнее остальных. Однажды в Штатах я зашел в магазин русской книги, а там как раз делегация. Советская. Меня им представили. Одна женщина партийного вида подошла и специально сказала заговорщическим тоном: «Спасибо за ваши книги». Наверное, благодаря таким женщинам меня и терпели.

— *А что такого крамольного в «Руке»? Веселая, милая книга...*

— Ну да, если не считать того, что в ней предсказывался крах системы. Кстати, это предсказание сейчас понемногу сбывается, с большим опозданием. Я описывал разрушение всего этого по китайскому варианту, к которому, насколько я понимаю, все сейчас относительно мирно сползает. В Китае ведь как? Я там недавно был. Читать можно все. Мандельштама, Хренама, Набокова, Хренокова. Интернет, правда, под контролем государства,

но доступен. Лозунги все остались коммунистические. Плюс экономическая свобода. С блядьми борются, потому что блядство, по их мнению, заражает нацию. И так думает не только начальство, а и просто люди. В «Руке» как раз такой вариант и был описан — «Славу КПСС» оставляем, тем более что всем давно насрать на эту славу, а инициативным и умным даем зеленый свет. Если бы с самого начала пошло по этому сценарию, было бы много лучше.

Они умные там, в Китае. Они еще всю планету отхарят, уверяю вас. Если только она к этому моменту не уничтожит себя сама, что тоже возможно. Но тогда уж все, п....ц парадигме. Это выражение я вам дарю, можете использовать.

— *Спасибо. А п....ц парадигме может наступить?*

— Если Китай не отхарит — вполне. Но он отхарит. В мире сегодня три реальные силы: Россия со своими хоть и старыми, но ракетами, Штаты и Китай.

— *Я думал — вы начнете с ислама...*

— Ислам — не синоним экстремизма, экстремисты малочисленны, и с ними бы давно справились. Если бы не рвались использовать их каждый в своих целях. А их, собственно, и растили для выяснения отношений между СССР и США. Когда они перестанут быть нужны — с ними разберутся очень быстро. А сейчас их терпят. Не из политкорректных соображений, а из стратегического расчета. Дни радикализма сочтены. А ислам останется — в нем хоть и есть требование убивать неверных, которого я никоим образом не поддерживаю, но ведь и много чего есть кроме этого, нечего монстра делать из него...

— *Религиозность — это для вас признак ума или наоборот?*

— Религиозность никакого отношения к уму не имеет. Это глубочайший инстинкт, а все споры о нем происходят от нашего разума. Разум завистлив. Зависть эта понятна: ум смертен, а душа — нет. Заметьте, о смерти вам всегда говорит ум. Душа верит, что она вечна, просто верит, знает, эту веру не надо доказывать. Поэтому душа, как правило, ничего не боится. Страхи ей нашептывает все тот же разум. Он расчетлив, осторожен, потому что опять-таки не вечен. Без него не прожить, а как бы хорошо было. Но он нужен в мире, потому что мир никогда не станет царством Божиим. Лани не возлягут с тиграми. И надеяться бросьте. Ну, тут тоже много хорошего.

— *Я знаю, вы цените это. Поделитесь опытом: с годами человек больше думает об этом или меньше?*

— О чем — об этом?

— *Ну об этом...*

— Это — понятие растяжимое. Мы можем думать при этом о конкретной бабе, а можем — о тайнах любви, в которой как ничего не понимали, так и не понимаем. Я, как солдат из анекдота, всегда думаю об этом, и всегда о разном. Думаю, я не совсем правильно тратил силы в литературе — надо было меньше заниматься всякими сарказмами насчет советской власти и больше думать об отношениях. Об этом, да.

— *Кстати, у вас стих был лирический — как герой мечтает сидеть в туалете, на унитазе, предварительно нагретом возлюбленной, и читать газету о падении власти на Родине...*

— Да, в китайском цикле. Буду здесь на вечере читать.

— *Тогда ему это казалось верхом гармонии. Ну и как — настала она?*

— Друг мой, ну какая гармония? Я же говорю, она здесь невозможна. Но читать о «падении династии», как это названо в стихах, мне было приятно. Я по ней тоски не испытываю. Династия была дерьмо и даже говно. Людям она сильно мешала, активизировала в них худшее, лучшим не давала ходу. Иное дело, что после ее падения все могло пойти иным путем, более разумным, — но Россия ведь страна становящаяся, взрослеющая. До взрослости ей еще о-го-го. На фоне старого Китая, например... Погодите, гиперактивные дети становятся со временем очень приличными людьми.

— *Что вам нравится в русской литературе нынешней?*

— Я далеко не все знаю. Главной фигурой девяностых, на мой взгляд, был Пелевин, его прозу я полюбил. Главной фигурой сегодня становится Гришковец — несколько более склонный, кажется, угождать публике, но все равно очень талантливый. Массовую беллетристику я никогда читать не мог, но она ведь и не для этого. Она — свидетельство о времени. Многие реалии будут восстанавливаться потом по текстам Марининой, пишущей, кстати, лучше Устиновой, Дашковой, Донцовой... Никого не хочу обижать — эта литература нужна. Великие отражают не столько эпоху, сколько себя. А массовая культура аккумулирует быт.

— *Вы много — и аппетитно — писали о своем чревоугодии. Пищевые пристрастия как-то меняются?*

— Я люблю есть и люблю готовить. Меня никто этому не учил, все сам, в детстве: мать на работе, отец на фронте, брат маленький. И тогда я освоил первое свое блюдо — из чего было: из картошки. Драчены. Я и сейчас это очень люблю. Добавляю цветную капусту.

— *Лосев очень любит.*

— Так я его и научил. Я много готовлю, а меняются не столько пристрастия, сколько продукты. Раньше была сайра — о, какая была сайра! Теперь и масло жидкое, и вкус не тот. Главной закуской были рыбные консервы в томате, не знающие себе равных, — нигде в мире так сделать не могли, тайной был этот маринад. Сегодня их нюхать страшно, не то что есть. Вообще советские рыбные консервы были прекрасны — в Штатах с рыбой хуже, даром что с каждой стороны по океану. Там она дороже почему-то. У них копченый лосось в Нью-Йорке по восемьдесят долларов, а в России — по двадцать! Я не покупаю, сам солю. Беру сырого лосося, режу спинку вдоль, половину морожу, половину пластаю с солью. Делаю малосольного. Съедается — размораживаю и делаю еще.

А в Москве я ем сосиски главным образом. Ничего, кроме сосисок. В Штатах таких нет, не было и не будет.

Аркадий Арканов

Арканов известен как сатирик, телеведущий и светский персонаж, но это, конечно, безмерное обеднение. Он прежде всего прекрасный, элегический фантаст, автор грустных сказок «Кафе “Аттракцион”», «Рукописи не возвращаются», «И снится мне карнавал», сочинитель странных историй о несчастной, но взаимной любви — бывает и такое, и он один из немногих, кто умеет про это писать. Думаю, что вся пелевинская «Жизнь насекомых» выросла из его рассказа «В этом мире много миров». Вдобавок он врач — и, как все хорошие врачи, снисходителен к человеческой природе.

— *Аркадий Михайлович, одна столичная газета уже написала, что вы закончили роман. Жанр вроде не ваш. И почему от лица женщины?*

— Это не роман, хотя по сюжету и страстям даст фору многим художественным текстам. Это книга о Михаиле Тале и его любви.

Я не набиваюсь к Талю в друзья, в отличие от многих и многих, с которыми он общался в разное время и которые — по искрометности и щедрости его натуры — принимали это за дружбу. Нет, мы были в ровных, хороших отношениях на протяжении всей его жизни. Я познакомился с ним в 1960 году, когда ему принадлежал абсолютный возрастной

рекорд среди чемпионов мира: он стал чемпионом в двадцать четыре года, и обогнал его только Каспаров почти тридцать лет спустя. Таль тогда не расставался со своей прелестной молодой женой Салли Ландау, их дитя лежало в колыбели.

Их брак делился на активный и пассивный периоды: вместе они прожили первые пять лет, затем формально оставались мужем и женой еще семь. Бесчисленные увлечения были у него, огромным успехом пользовалась она. Потом он женился на Геле, Салли эмигрировала в Германию, забрала с собой сына... Сын не выдержал прессинга зарубежной жизни, и Таль сумел выбить ему разрешение на въезд в СССР. Въехать обратно за всю историю Советского Союза удалось двум людям: дочери Сталина и сыну Таля. Потом этот мальчик все равно уехал, уже в Израиль, и там теперь держит стоматологическую клинику.

И все это время у Таля и Салли сохранялась самая настоящая связь.

— *То есть духовная?*

— Нет, это были... отнюдь не братско-сестринские отношения! Это продолжалось до конца жизни Таля. Я думаю, они с Салли были на всю жизнь друг другом ранены. Есть возраст — на взлете жизни, в начале ее, — в котором эти стрелы не извлекаются. Как жало пчелы. И потом, может быть, они как-то особенно подходили друг к другу... Вот такой цепочкой они были связаны тридцать лет, и Салли не случайно была одержима идеей написать о Тале. С этим предложением она подошла ко мне в Тилбурге, куда я поехал с шахматистами на турнир.

— *Играть?!*

— Я — в Гилбурге? Что вы! У меня первый разряд, и только. Я любитель. Поехал с друзьями.

И вот Салли предложила работать вместе: я приехал к ней в Антверпен, включил магнитофон, и она рассказала все, что сочла нужным. Что-то добавил сын. Я приехал в Москву, стал расшифровывать пленку — и поразился: передо мной был роман о двух невероятных, фантастических жизнях! Это не просто романизованная биография, вроде тех, какие так популярны в Штатах: это невероятно бурная, красивая, сложная история! Конечно, я прославлял ее воспоминания отчетами о матчах, разбором партий, цитатами из газет... Иногда сопоставлял: вот здесь она говорит, что в качестве шахматной музыки Таля помогла ему на таком-то турнире выиграть пять партий. Я сверяю: пять ли? Если правда, комментирую восторженно, если преувеличение — еще более восторженно... Мне думалось, что эта работа займет у меня четыре месяца. Она заняла полтора года. Получилась книга о любви, книга на триста пятьдесят страниц, одна из самых поразительных историй двадцатого века... Таль ведь был исключителен во всем. Загадка.

— *А в чем его исключительность? Почему вы вообще взялись о нем писать?*

— Это был шахматный гений, которого называли колдуном, инопланетянином, гипнотизером. Я никогда не садился с ним играть, потому что для гроссмейстера доска — минное поле, каждая клетка заминирована, а любитель ходит по этому полю, как муха, не замечая опасности, не

видя мин... Таль возродил романтический стиль игры — откуда-то из восемнадцатого, девятнадцатого века. Он любил жертвовать на ровном месте. А потом выяснялось, что после этой жертвы он матует в пять ходов или немедленно громит все фигуры противника. Это было всегда неожиданно, потом все голову ломали и находили защиту. Но — задним числом! Действительно как гипноз: есть же очевидный вариант, при котором Таль проигрывает! Но никто, как правило, этого варианта не видел.

Потом, он был феноменально обаятельный человек. Любивший женщин, выпивку...

— *Последнее, я слышал, — до страсти.*

— Нет, того, что называется «геном алкоголизма», там не было. Он мог неплохо напиться вечером (оставаясь блестящим собеседником и не впадая в свинство), а наутро играть с абсолютно свежей головой. Вообще он в детстве, буквально в грудном возрасте, перенес тяжелый менингит. И старый врач сказал его матери: либо он вырастет гением, либо идиотом. Я сам врач и подтверждаю такой прогноз: в детстве у менингита два именно таких исхода. Талю повезло. Но болел он всю жизнь: во-первых, родился без двух пальцев на руке. Во-вторых, долго страдал от заболевания почки, диагноз вовремя не поставили, и когда эту почку удалили, она была уже ни на что не похожа... Боли сильнейшие, играть его выпускали под морфием и пантопоном. Началось привыкание, пошли слухи, что он наркоман, — об этом тоже есть в книжке... Он умер летом 1992 года в возрасте пятидесяти шести лет, совсем молодым человеком, и до пос-

ледного был любимцем женщин, кумиром друзей... В общем, написать о таком человеке, попытаться понять его тайну, да еще и получить уникальные воспоминания его жены, — это увлекательнейшая задача для писателя.

— *Вы собираетесь выпускать книгу под своей фамилией?*

— Скорее всего, под двумя. Я готов был бы просто написать в подзаголовке: «История жизни Михаила Таля, пересказанная Аркадием Аркановым». Пусть главным будет имя Салли, — но если рядом будет стоять мое, книгу купят на лотке уже не двадцать, а пятьдесят человек. Я говорю это не потому, что так хорошо к себе отношусь, — просто есть имя. Сейчас мы печатаем фрагменты, а издательство «Олимп» рассматривает книгу в целом. Если не опубликует, я ее издам за свой счет. Мы только не определились с названием. Мое предложение — «Я была королевой Михаила Таля», что вполне соответствует действительности, — Салли отвергла: оно кажется ей нескромным. «Я была спутником планеты Таль» или «Мой Таль» — эти варианты мы сейчас рассматриваем. Я подчеркиваю: это не книга о шахматисте, это любовный роман, в котором все — правда.

— *А собственные рассказы вы забросили?*

— У меня сейчас период накопления, я не пишу ни фантастики, ни сатиры. Зато собираюсь продолжить «От Ильича до лампочки». Трудность в том, что я уложил сто двадцать лет русской истории — от рождения Ленина до ГКЧП — в шесть печатных листов. Чтобы писать новую главу, я должен быть уверен, что происходящее сегодня в России достой-

но моей летописи. А кто будет помнить Коржакова через полгода? Если к двухтысячному он не станет кандидатом в президенты или, не дай Бог, кем-нибудь похуже? Происходит масса всего, но уверяю вас, это только сегодня нам кажется, что при нас творится история. Совсем другое творится.

— *Вы решили писать свою историю в подражание сатириконцам?*

— Да, это была золотая жила, которую никто отчего-то не разрабатывал. Была гениальная книжка — «Всеобщая история, сочиненная “Сатириконом”». Цвет тогдашней юмористики, от Аверченко и Тэффи до Бухова и Д’Ора, написали всемирную историю листах, по-моему, на двенадцати... Я специально опросил всех коллег: есть у них в столах что-то подобное? Ни у кого не было. Я взялся сам, предварительно поискав издателя, чтобы не работать в стол. В России никто не заинтересовался, в Америке владелец издательства «Либерти» прочел начало и сразу решил издавать. Так вышло, что книга впервые появилась в Америке, хотя по-русски. Этот Илья Левков, возглавляющий «Либерти», — славный малый, но он абсолютно не умеет продавать книгу. Напечатал пять тысяч, хотя разошлось бы и пятнадцать. И — ни с места. Я стал ее реализовывать на выступлениях, — он сначала не верил, но постепенно у меня на концертах раскупили весь тираж. Только тогда зашевелились в России: книжку напечатало частное издательство «Куншт». Гонорар мне отдали экземплярами книги: я получил полторы тысячи своих «Лампочек» и неплохо продал.

— *Что, не осталось?*

— Подарю, не беспокойтесь.

— *Я не могу не спросить, на что вы живете: большинство писателей сетует на то, что гонорары — даже за самые раскупаемые книжки — едва-едва можно прокормиться...*

— Во-первых, я живу на гонорары, но охотно пишу по заказам, так что в итоге мне хватило бы. На самое необходимое. И я никогда бы не пожаловался на нехватку того-то и того-то. Хотя мне и сейчас многого не хватает. Но я могу себе позволить какие-то вещи, которые мне внутренне необходимы. Вот, издал книгу памяти Котика Певзнера, руководителя ансамбля «Орэро». Я его любил, собрал воспоминания о нем и выпустил. Могу себе позволить книгу о любимом друге.

А платили мне за публикации — кто бы ни заказывал, если мне это интересно, я соглашаюсь. Конечно, N денег получать не так приятно, как 10N. Но если меня устраивают заказчик и тема, я пишу. Вот устраивал меня «Обозреватель» — я вел там полосу под названием «Извините, если что не так». Потом «Микродин», которому «Обозреватель» принадлежал, внезапно грохнулся, — видимо, не сумев переварить купленный им «ЗИЛ», который тут же сожрал все деньги, туда вложенные. Как и должно было получиться. Теперь «Микродин» не живет, а существует, и журнала он себе уже не позволяет, так что я пишу для других изданий. Вторая статья доходов — выступления. Меня часто зовут выступать, потому что я человек востребованный.

— *Почему?*

— Не знаю. Наверное, потому, что я положил жизнь на одно — оставаться самим собой. Не при-

надлежать ни к тем, ни к этим и не особенно часто мелькать. Возможно, это привлекает.

— *Вы стали персонажем светской хроники — при всем своем нежелании мелькать. Вас это радует?*

— Не радует, потому что, в общем, я совсем не похож на этих персонажей. Я не принадлежу к их числу. Знаете, как бы я охарактеризовал светскую тусовку? Это люди без оглядки. Они думают, что так будет всегда. Их никогда не возили лицом по асфальту, а надо быть к этому готовым.

— *Вас возили?*

— Неоднократно.

— *За публикацию в «Метрополе»?*

— И не только.

— *Но мы же все ждали, пока вырастет поколение свободных людей... без страха в генах...*

— До западной свободы в генах нам еще очень далеко. У нас гораздо уместнее иметь в генах вот эту готовность проехаться мордой по асфальту. Это не самая плохая готовность, она приучает как-то, знаете, трудиться, готовиться к худшему, правильно строить свою жизнь, чтобы не только порхать по светским мероприятиям, а еще и немножечко что-то такое писать, печатать... Они же все совершенно невосприимчивы к критике. Им кажется, что их должны носить на руках. Их и носят. А скажи что-нибудь плохое — человек встает на дыбы, даже будучи абсолютным ничтожеством, пустым местом... Я поэтому и не говорю о них ничего плохого. Вот выступали мы с Окуджавой в одном вечере, лет десять тому назад, — из зала приходят записки: что вы думаете о таком-то поэте, таком-то прозаике? Я начинаю рубить рукой воздух: бездарный, лжи-

вый... разное, короче. Окуджава же говорит: один поэт может быть лучше, другой хуже, но в целом все они замечательные люди... И мне потом говорит: что ты нервничаешь? Береги нервы! Все равно ведь ты никого не изменишь! Вот и я теперь. Берегу нервы. А то люди от критики на стену лезут: я как-то раз что-то не совсем восхищенное сказал о моем друге Винокуре, который исполнял мои тексты и часто бывает в этом доме, — и то человек возмутился: «Михалыч!» А что Михалыч? Сказать уже нельзя?

— *Вы упомянули «ген алкоголизма». Есть, наверное, какой-то ген полигамии, непременно многоженства, — и у Таля, и у вас... Вы ведь сейчас в третьем браке?*

— Да, мою третью жену зовут Наташа Высоцкая. Мы поженились шесть лет назад. Она тогда работала в музыкальной редакции телевидения...

— *Прямо заповедник невест эта музыкальная редакция: Козаков там же нашел четвертую жену...*

— Ну, я-то с Наташей познакомился пораньше, чем он с Аней. А что касается гена полигамии... да, есть такой. Почти наверняка. Дело ведь вот в чем: человеку отпущено очень мало жизни. Я не первый до этого додумался, но понял с особой остротой: сколько там наш активный век? От двадцати до шестидесяти, максимум до семидесяти. Почему надо останавливаться, укорачивать и без того короткую жизнь человеческую? Вот тигр: он и в восемь лет тигр, и в пятнадцать играет с восьмилетней тигрицей, не получая от этого ничего, кроме удовольствия.

— *И что, у вас с женой именно такая разница?*

— Не совсем такая, ей сорок восемь, она большая девочка, а мне в июне — если все будет хорошо — исполнится шестьдесят четыре.

— *Батюшки, я думал, вы ровесник Горина...*

— Нет, он младше меня на семь лет. Так вот о тиграх: человек, я думаю, до самой смерти не должен говорить, что такая-то женщина была в его жизни лучшей. А вдруг завтра будет другая?

— *И вы применительно к себе не исключаете такого варианта?*

— Не исключаю.

— *А жена, по крайней мере, будет в числе претендентов на звание лучшей?*

— Думаю, что она в первой тройке.

— *Впервые вы женились, насколько я помню, очень рано...*

— Ну, не совсем рано. В двадцать четыре года. Пятьдесят седьмой, страшно подумать. На начинающей певице Майе Кристалинской. Активный брак продолжался месяцев семь-восемь, пассивный — еще пять лет.

— *А сын у вас от второго брака?*

— От второго. Васька — удивительный человек, человек девятнадцатого века. Страшно талантливый — это не только я говорю, он замечательно пишет. Его мать умерла четыре года назад, умирала долго, мучительно, от рака, и перед смертью завещала, чтобы он уехал из России: она боялась за него. Я все время был около нее тогда, и он тоже, он не вполне еще оправился от этого удара и, наверное, не оправится никогда... Он ее завещание выполнил. И живет сейчас в Бостоне. И работает в банке, который вытягивает из него все силы, но совершенно

не дает заниматься его настоящим делом, — писать. Хотя его там все любят, потому что он парень дельный и обаятельный. Но я знаю, что ему там тяжело. Остановливаюсь у него — и вижу это. Вот брат мой, врач, там хорошо себя чувствует...

— *А вам медицинское образование хоть раз помогло?*

— Я думаю, если писатель и должен что изучать, так это анатомию и физиологию человека.

— *Но первую помощь вы, вероятно, давно уже не оказываете?*

— Пару раз в жизни приходилось. Тем не менее, нас учили настоящие светила, врачи высочайшего класса, и я по сию пору остаюсь неплохим диагностом.

— *Пять лет назад в интервью я попросил вас поставить диагноз России. Вы тогда назвали очень много всего — от мании величия до астенического синдрома, и все это с трофическими язвами...*

— Вообще состояние здоровья страны очень похоже на состояние здоровья ее власти. Сейчас страна больна тем же, что и президент. Ему предстоит «операция выбора» — и стране тоже.

— *Что такое «операция выбора»?*

— В медицинской терминологии это операция буквального выбора между жизнью и смертью. Без операции он мог бы жить, конечно, — но очень плохо. Ведь шунтирование нужно, когда сосуд перестает быть гибким, плохо пропускает кровь, — как русло заросшей реки. Если человек не хочет медленно погибать — он соглашается на операцию. Ельцин согласился. Может, и страна прочистит наконец свои каналы...

— *Но и у него, и у страны еще анемия...*

— Это последствия плохого состояния сосудов. После шунтирования у него все придет в норму, я уверен.

— *Несмотря на всероссийскую анемию, вы сумели получить весьма привлекательную квартиру в престижном районе, на Сивцевом Вражке...*

— Это последняя моя удача при советской власти. Не все еще рухнуло, не начался обвал цен, — мы с Наташей решили съехаться и вложили в это все свои сбережения советских времен. Мы успели их потратить. У нее была крошечная квартирка за Войковской, а у меня такая же крошечная, тоже однокомнатная, — на улице Чехова. Мы доплатили очень мало и переехали хоть и на первый этаж, но на Сивцев Вражек.

— *Пока мы разговариваем, у вас в квартире убирается женщина, — видимо, домработница...*

— Да, она приходит два раза в неделю.

— *Вам не бывает неловко перед ней? Нечто вроде комплекса?*

— В каком смысле неловко?

— *Ну вот я, например, всегда испытываю жгучую неловкость, когда в гостинице, за границей, меня обслуживает кто-то... типа лакея...*

— А, вот вы о чем! Эта женщина давно — как член семьи. Она приходит ко мне двенадцать лет. И тогда приходила, когда я жил на Чеховской, и у Васи порядок наводила... Мы у нее тоже в гостях часто бываем. На семейных торжествах. Я никогда не относился к ней как к прислуге. Она приходит мне помогать, делать за меня то, что я не умею.

— *А песни вы продолжаете писать?*

— Пишу. Исключительно для себя, а не для эстрады. Это мое развлечение, если оно еще кому-то доставляет удовольствие — слава Богу. Я хочу сделать большой творческий вечер, на котором буду читать и петь. Вот недавно Алена Свиридова написала песню на мои стихи, мы поем ее вместе. «Прощайте, девочки, прощайте, мальчики»...

— *О чем она?*

— О том, что не надо грустить, отчаиваться, разочаровываться в жизни... Будет другая жизнь, в которой все будет хорошо. В другой жизни всегда все будет хорошо.

— *Вы и сами так думаете?*

— У меня было несколько жизней. И я всегда так думал. Не скажу, чтобы мне это мешало.

Александр Баширов

Брать у Баширова интервью очень трудно — это я предупреждаю коллег на будущее. Во время разговора он — даже зная вас тысячу лет — может среди серьезного ответа спросить в лоб:

— Ты натурал? Колешься, нюхаешь? Малолеток любишь?

И черт его знает, что отвечать. Скажешь: «Натурал, не нюхаю», — а он скажет: «Жаль, жаль...».

Отличить серьезного Баширова от стебающегося в принципе можно. Когда тема его занимает, он говорит быстро, тихо, идеальным русским литературным языком, с которым человек в Тюмени обычно не выживает (он тюменский, если кто не в курсе, в Питере живет с середины восьмидесятых). Тогда нет ни его знаменитых гнусавых «э-э», более долгих и частых, чем даже киселевские, ни гнусных шуточек. Слов ему не хватает и тогда, и он сильно жестикулирует худыми пальцами. Такой разговор может продолжаться минут десять. Дальше начинается наигрыш, не хуже, чем в кино. Где он в этом интервью, а где все было серьезно — разбирайтесь сами.

— *Я ведь так и не знаю, как ты оказался в кино.*

— Я, между прочим, твой коллега. Тюменский филфак. Писал прозу, считался в Западной Сибири перспективным писателем. Я тогда ее не печатал, потому что никто не брал, а сейчас не хочу, потому что занимаюсь кино. Но это было что-то в духе Пруста, бесконечное растягивание минуты, потому что минута мне интересней, чем день или час. В ней все помещается. Разветвленные сложно-подчиненные предложения. Потом я служил в армии, это был грандиозный мистический опыт, — Забайкалье, пологая круглая гора, называвшаяся «Сопка Чингисхана», вообще пейзаж, неизменный с чингисхановских времен, и живое присутствие великих призраков Орды. Это все чувствовали, не я один. Ракеты уходили в небо в честь Чингисхана. Мистическому мироощущению много способствовал одеколон, бывший там единственным напитком. Ты пьешь одеколон?

— *Нет. Говорят, после него сушняк.*

— После него мистика. Там, в армии, у меня был еще один полезный опыт, тоже связанный с Чингисханом. С природой власти. Я дослужился до сержанта и был разжалован за превышение. Разжалован по делу.

— *Это не всякий признает.*

— Я признаю, потому что меня повело. Я понял, что могу сделать с человеком многое и что это засасывает. После этой прививки я не был начальником уже ни над кем, никогда.

Ну и вот, я служил там и думал, и мне стало понятно, что словесных средств мне мало для самовыражения, надо искать визуальные и связываться с кино.

Так я поехал в Москву и поступил во ВГИК к Таланкину. У меня был фантастический курс — вообще весь этот год был феноменальный по числу талантов: Литвинова на сценарном, Козлов на операторском, Охлобыстин, Качанов и Кеосаян со мной на режиссерском, все бурлило, надежды огромные... Ну, и потом Ленинград — Костя Кинчев, который водил по нему меня и череповчанина Сашу Башлачева. Такая примерно среда. Казалось, что вот сейчас-то все и получится. Мне было тридцать лет, но никогда я себя не чувствовал настолько несовершеннолетним. К слову сказать, я и сейчас несовершеннолетний.

— *А как на тебя вышел Соловьев?*

— Соловьев был из другого круга совершенно. Для него все это был непрерывный карнавал. Мы его любили, но семантически он не воспринимался. Если говорить на том языке, который я после филфака знаю и которым пользуюсь в сложных случаях, — у каждого человека свой троп. Мы жили в метафоре, а Соловьев жил в синекдохе, ему наша жизнь казалась сумасшедшей. Но он загорелся и снял «Ассу». Меня он знал еще по «Чужой», я там сыграл у него в Казахстане. Моя работа в «Ассе» — не бог весть что, я вообще не артист, это мой заработок. Но атмосфера вокруг Соловьева — прекрасная, живая, он всем дает цвести, вокруг него все крутится, и время, проведенное с ним, я вспоминаю с любовью. Вообще же актерство — это панель, на этот счет у меня никаких иллюзий. Я на этой панели зарабатываю на жизнь, а с нее возвращаюсь в семью. К студентам, в частности, или к съемкам собственных опусов, на которые у меня никогда не бывает больше тридцати тысяч евро. «Железную пяту оли-

гархии» я снял на двадцать пять тысяч долларов в год дефолта, занимая и перезанимая. Она была на конкурсе дебютов в Венеции — уехала с призом критики — и в Амстердаме, где победила.

— *Почему ты снял так мало и начал так поздно?*

— Я терпеть не могу унижаться. Не ковыряй в носу, я говорю важные вещи! Если хочешь где-то ковырять, ковыряй в жопе... Так вот: я не умею просить, уговаривать, добиваться, выбивать, выжидать, все формы бытового унижения мне невыносимы, и если без этого нельзя снимать кино, я помолчу. Я не могу убивать в себе то, что мне дорого, ради того, чтобы потом это воспеть.

— *Но можно попробовать ставить в театре, это дешевле...*

— Театр — совершенно не мое, я не хожу туда. Антропологически не мое. То есть рассчитано не на таких людей, к которым я принадлежу и для которых хочу работать.

— *Тебе не обидно, что вечно предлагают играть маргиналов или безумцев?*

— Играть маргиналов или безумцев очень трудно, гораздо трудней, чем так называемого массового человека, который тоже миф, кстати. Моя лучшая работа за последнее время — роль у Пендраковского в «Полном дыхании», он сейчас заканчивает эту картину, где я играю приморского хохла-милиционера. Этот участковый не просыхает вообще. Сыграть пьяного, чтобы было смешно, — задача исключительная.

— *Можно выпить...*

— Можно, но это будет не смешно. И даже недостоверно. Там масса тонких вещей, посмотри

фильм. Что касается маргиналов: маргиналы на самом деле — хозяева мира. Что такое маргинал? Это человек, легко переходящий границы. Между мирами, между людьми, между умом и безумием — все сразу. И только маргинал в результате прорывается куда-то, куда следом за ним устремляются все. Но когда устремляются все, это уже называется мейнстримом. Маргиналы — Муратова и Балабанов. Маргиналы — Павел Первый и Лавр Корнилов, которых я играл. Мы — люди края, да. Мы прорываем границы. Меня только это и занимает.

— *Расскажи, как тебе работалось с Муратовой: говорят, она очень трудный человек.*

— Трудный, не пьет совершенно, только со мной выпивает иногда, потому что со мной не выпить очень трудно. Я на нее обиделся один раз, но потом понял, что и в этом эпизоде сказала ее гениальность. Я ей решил почитать свои стихи — они у меня короткие, в основном хокку или танка. Прочел танка:

Лежу в гостинице провинциальной
Очень грустно
Шум за окном какой-то
Я выглянул
Там человек упал.

Ну, потом еще идет какой-то разговор, и вдруг она говорит: «Мне про ежика понравилось». Блин, про какого ежика?! «А вот это: «Ежу в гостинице провинциальной очень грустно»... Она недослышала «Лежу»! Я сначала ужасно обиделся. А потом понял, что ее вариант лучше. Вот у нее такое па-

радоксальное восприятие, но из этого ее фильмы и сделаны. Работать с ней очень просто, она хотела от меня одного: чтобы я пригасил словесное и акцентировал визуальное. Ну, я там так и играю — не словами. Мне интересны именно такие персонажи, как в «Двух в одном» — когда этот рабочий сцены внезапно начинает преображаться в Гамлета.

— *А как Балабанов уговорил тебя сыграть в «Грузе»? Многие же отказывались?*

— Отказался Женя Миронов, который мне незадолго до этого сказал: «Мне неинтересны роли, в которых нет позитива». У нас тогда большой спор случился, мы даже поссорились. Он же советник Путина по культуре, вот и не играет негатива, сплошной позитив. Жан Жене или Луи Селин ему теперь негатив, а Путин ему позитив. Я могу и буду играть негатив, у меня таких делений нет.

— *Но Миронов большой актер.*

— Большие актеры — Евстигнеев и Леонов. Миронов — хороший актер. Что касается Балабанова, там была непростая история. И Леша непростой. Для меня люди делятся на несколько градаций по степени, так сказать, жирности или влажности. Ты человек жирный, не в смысле что толстый и вообще без плохих смыслов, — но жирно пишуший, резкими толстыми линиями, и многословный, и не злобный. Я более поджарый, но мой юмор все-таки влажный. А Леша совсем мизантроп, законченный, сухой, жесткий. Но очень талантливый.

— *Но ты с ним дружишь?*

— Я не знаю, кто с ним дружит и кто осмелится сказать, что хорошо его знает. Я помог ему один раз

в жизни — на него наехали бандиты, он знает, что я с ними знаком, и попросил помочь. Я помог, и это дело разрулилось. Я его считаю большим режиссером, но дружбы там нет, не может быть.

— *Ты настолько дружен с бандитами?*

— И с бандитами, и с ментами. Я учился на филфаке во времена, когда моден был структурализм — Леви-Стросс, Тартуская школа... Так вот, с точки зрения структуралиста между бандитами и ментами принципиальной разницы нет. Говоря системно, это одно и то же. И общаюсь я с ними примерно одинаково, так же естественно, как они общаются между собой. Естественно, о Леви-Строссе мы не говорим.

Когда я прочитал сценарий «Груза 200», то согласился, потому что мне этот сценарий понравился. Снимали в прошлом сентябре. Сразу сниматься я не мог, потому что у меня было молодежное жюри в Анапе на «Киношоке», я там председательствовал. Балабанов ждет. Возвращаюсь и прошу у Сергея Сельянова три тысячи долларов за съемочный день. Это нормальный гонорар. Актерских заработков мне и семье еле хватает, у меня набегает в месяц от силы три-четыре съемочных дня, ролей не так много, и они небольшие. Сельянов очень возмутился. Он человек железный, иначе не был бы лучшим продюсером в России, — но тут я его, честно говоря, не понял. Роль трудная, ты сам видел. Страшная. Мне после нее долго восстанавливаться. Я с семьей три года нигде не был, мечтаю полететь в Мексику, мне эти девять тысяч как раз на поездку... Ты же видел — там три эпизода, но таких, что после них надо месяц приходить в себя.

Ты рвач, сказал мне Сельянов, ты алкаш и хапуга, воскликнул Сельянов, я вычеркиваю тебя из всех моих списков и всем скажу! Была такая школьная формула «Я всем скажу». Я скажу всем, и тебя никуда никогда никто не позовет! Но Балабанов, как уже было сказано, человек жесткий, ему нужен был Баширов и никто, кроме Баширова, и я сыграл, и мне заплатили.

— *И как она — Мексика?*

— Не знаю, еще не был.

— *«Груз 200» — очень хорошая картина, и все-таки я хорошо помню 1984 год, и он далеко не сводился к тому, что там показано...*

— О чем речь, сними другую. Я считаю, на фильм надо отвечать фильмом. Не нравится тебе 1984 год в изображении Балабанова — сделай альтернативный. Уверен, у тебя получится. Моя теща тебя все время читает и считает большим писателем.

— *А кто твоя теща?*

— Геолог, хороший человек. Разведывала все то, за счет чего сегодня живет Абрамович. Сегодня как: Абрамович — мейнстрим, а геолог — маргинал. Хотя Абрамович и сантехник, живущий у меня в подъезде, с точки зрения структурализма абсолютно одно и то же.

— *А жена у тебя кто?*

— Солистка в группе «Колибри», поет в «Железной пяте», ты ее видел.

— *Напоследок скажи: почему в Питере есть настоящее кино, а в Москве почти нет?*

— Хороший вопрос, я был бы рад, если бы им почаще задавались, например, в Министерстве культуры. Все объяснил Федор Михайлович: у него под-

заголовок «Белых ночей» — «Записки мечтателя». Там сказано, что в Петербурге можно мечтать, просто идти по городу и мечтать, он к этому располагает. А в Москве, прямо скажем, нельзя. И потом — он гибнет, это всегда вдохновляет.

— *По-моему, он гибнет с самого начала. И будет гибнуть вечно.*

— Нет, ему осталось лет тридцать. Говоря серьезно, мы все пасемся на кладбище. Я назвал бы нынешнее время консервацией деградации. Этого не может хватить надолго. Но работать и смотреть пока интересно. По крайней мере маргиналу вроде меня.

2006

Василь Быков

Все пространство прозы Василя Быкова отлично простреливается. Герою некуда деваться. Проигрыш (на который человек почти всегда обречен хотя бы потому, что смертен) можно и нужно встречать как следует — и это единственно возможный выигрыш. И потому ни у кого не вызвала удивления стойкость Василя Быкова в лукашенковской Белоруссии, когда горстка интеллигенции противостоит режиму. Прозаик с мировым именем, народный писатель Белоруссии, лауреат Ленинской премии за «Знак беды», Герой труда, автор тридцати первоклассных книг, фронтовик с двумя ранениями, любимец многих поколений — был наглухо лишен возможности печататься у себя на родине. Президент публично оклеветал его, назвав националистом и русофобом. Умер он дома. Ничего другого сделать там не мог — только умереть; и возвращение в Минск из Германии за считанные дни до конца было таким же великим литературным фактом, как «Мертвым не больно» или «Час шакала». Мы разговаривали еще до его эмиграции.

— *Вы сейчас, как я понимаю, должны себя чувствовать не лучше, чем в окружении, в глухой осаде...*

— Да, это не лучшие мои дни.

— *Но вы же не допускаете, что у этой власти хватит наглости вас арестовать? Вас в этом году на Нобелевскую выдвинули...*

— Режим может все, иначе это не режим. Без врага он не существует. Если врага нет, его надо выдумать, если выдумали — надо расправляться. Я вполне допускаю, что в этой беседе с вами скажу что-то, способное окончательно разозлить Лукашенко, и буду арестован. У меня нет никакого сомнения, что все мои разговоры немедленно становятся известны властям.

— *Против вас, я слышал, идет капитальная кампания.*

— Главное обвинение — в национализме. Я никогда националистом не был, всю жизнь дружил и дружу с русскими писателями, но в Белоруссии и вообще во многих бывших республиках сложилась такая ситуация, что националисты — единственная сила, способная противостоять коммунизму. Империя не могла не распасться, это очевидно, как бы ее жители сейчас ни пытались убедить себя, что все можно было сохранить. Бунт против империи был бунтом против коммунизма.

— *А почему тогда в России это совпало — коммунизм и патриотизм?*

— Там не патриоты России, там патриоты империи. Это коммунизму не противоречит. А в Балтии, на Украине, в Белоруссии националисты противостояли коммунистам, и кроме них не на кого было в этой борьбе опереться.

— *Но Василь Владимирович! Ведь все беды окраин — от национализма, вы же не станете его обелять...*

— Национализм — понятие одиозное, но у него ведь огромный диапазон. От немецкого нацизма до христианского, цивилизованного национализма, на основе которого скроена вся карта Европы. Вот как в Прибалтике. Такой мог быть и в Белоруссии, но Белорусский народный фронт ошибся, делая упор на отделение от России, на возрождение белорусского языка... Будь у белорусов более сильное национальное сознание, они не позволили бы унижать себя такой властью, которую терпят сейчас! Уважающий себя народ прежде всего не может быть рабским. А коммунизм в Белоруссии не преодолен. Рабство въелось в плоть и кровь. Из всех европейских республик мы, пожалуй, меньше всех готовы к свободе.

— *У вас получается, что перестройка, по сути дела, не затронула народного сознания.*

— Наверное, так. Если народ так легко подмяли под себя, если режим может опираться на все прежние структуры, если номенклатура уцепилась за Лукашенко и беспрепятственно вытащила его во власть, — да, можно считать перестройку безрезультатной. Подозреваю, что за нашим президентом стояли спецслужбы, причем московские...

— *Я боюсь, что в этом случае КГБ — не более чем псевдоним Бога, Василь Владимирович.*

— Не знаю насчет Бога, но насчет КГБ Лукашенко сделал недвусмысленное заявление, сказав публично, что с ним связана вся его жизнь. Я вам покажусь сейчас циником, но главу БНФ Позняка погубили две вещи. Во-первых, он обнародовал свою экономическую и политическую программу, а Лука-

шенко отделялся демагогией. И во-вторых, в эту программу была заложена люстрация. Он сказал, что к руководству страной и в выборные органы не должны допускаться люди, запятнавшие себя сотрудничеством с органами. Наоборот надо было сделать! Надо было заявить, что участие этих людей в строительстве новой жизни будет всячески приветствоваться — они самые опытные, самые проверенные! Разумеется, старикам, ветеранам, крестьянству ближе Лукашенко. Он защищает их от НАТО и от националистов, страшной которых зверя нет. Очень надо ветеранам на старости лет учить белорусский язык!

— *Но, может, Белоруссии действительно пригоднее социалистическая экономика?*

— Какая социалистическая! В Минске не осталось зданий, не приватизированных управлением делами президента! Приватизация по Лукашенко — это когда он сам решает, что брать в свою собственность, а что нет. Он человек абсолютно коммунистической ментальности и ждет только, когда в России произойдет переворот.

— *А как живет белорусская деревня? Я ее почти не знаю.*

— Белорусской деревне не с чем сравнивать. Лукашенко сохраняет колхозы. Что такое белорусский колхоз? Это несколько десятков механизаторов на допотопной технике и доживающие пенсионеры. Механизаторы зарабатывают, пенсионерам платят пенсию. Деньги мизерные. У некоторых — коровки. Растят картошку и лук. Раз или два в неделю привозят свежий хлеб. Примерно такая жизнь

была и до Лукашенко. Радио «Свобода» в деревне не слушают — хотя бы потому, что оно вещает на коротких волнах, а таких приемников у колхозников нет. И батареек к ним в деревне нет. Зато у каждого есть телевизор, по которому Лукашенко выступает ежедневно. И продолжаться так может очень долго, поскольку оппозиция раздавлена. Будем говорить откровенно: в большинстве своем это аутсайдеры, люди, отколовшиеся от президента в силу личных, часто имущественных обид. А настоящие оппозиционеры — БНФ — ничего не могут сделать, потому что демократия не обладает адекватными средствами для борьбы с тоталитаризмом. Это очень грустно звучит, но с историей не поспоришь. Демократия не может пользоваться инструментарием тоталитаризма. А тоталитаризм, напротив, очень активно использует все атрибуты демократии: выборы, парламент... Просто во все избирательные комиссии ставятся свои люди. В Минске центральная избирательная комиссия во главе с Гончаром взбунтовалась, сказала, что выборы происходят безобразно, — Лукашенко послал отряд ОМОНа, и Гончара вышвырнули за шкуру.

— *Интересно, как вы в этой связи относитесь к Ельцину, об авторитарности которого у нас достаточно говорят?*

— Ельцин — антикоммунист, и я это приветствую. В моих глазах, как и в глазах всего мира, его уронила Чечня.

— *Скажите, а существует ли белорусский национальный характер? Говорят о «кроткой Белоруссии», «тихой Белоруссии»...*

— Это вопрос к ученым, я не берусь определять белорусский характер... Но одно могу вам сказать: в Лукашенко нет ничего от белорусской ментальности, какой я ее знаю. Ничего нашего. Все в нем противно тому представлению о народе, которое я вынес из войны, из всей жизни.

— *Вы говорите о бессилии интеллигенции. В связи с этим я вас хочу спросить — кто лучше воевал? Упертые или мыслящие, простые или сложные? Мне кажется, лучший солдат — человек, не привыкший думать...*

— Видите ли, война была очень разная. В наступлении лучше вели себя одни, в отступлении — другие. То, что мы называем подвигом, чаще всего совершалось потому, что у людей не было выхода — они жизнь свою спасали. Вы ни за что не подумали бы десять лет спустя, глядя на этого тихого бухгалтера, что он остановил танк или один отбил от взвода. Человек никогда не знает, что в нем проснется в решительную минуту. Тут не важно, умный ты или дурак. Срабатывают какие-то непонятные механизмы.

— *Я слышал, вы однажды сумели подбить танк из разбитого орудия — не было прицела, пришлось наводить по стволу...*

— Боже мой, ну что там было наводить — он подъехал на пятнадцать метров... Вообще, надо вам сказать, танк остановить очень сложно. Это большая машина и страшная, а у пехоты были против них главным образом кумулятивные гранаты. Тяжелая дура, весит килограмм под двадцать, далеко не кинешь, и чтобы стабилизировать ее в полете,

у нее сзади еще хвост такой приделан, вот она с ним летит. Танк устроен так, что у него много острых углов: если она мазнет по ребру башни — считай, промазал. Зажигательная смесь его тоже чаще всего не берет. Мало, мало приятного.

— *Я читал почти все ваше — а о вас знаю очень мало. Где вы сами воевали?*

— В сорок третьем я окончил Саратовское пехотное училище и приехал на Днепр, на второй Украинский фронт. Воевал в пехоте, под Сталинградом был ранен, потом снова на фронт, теперь уже на третий Украинский... Молдавия, Румыния, там опять ранило, и довоевал я в армейской истребительной противотанковой бригаде. Войну закончил в Австрии. Демобилизовался в сорок седьмом, а в сорок девятом меня опять призвали. У нас же армия — как космический пульсар: то расширяется, то сжимается. В сорок девятом было очередное расширение, я лейтенант, меня забрали на сборы (тогда было не как теперь, три месяца я отбухал), а потом отправили на Дальний Восток. На Сахалине еще пять лет служил. Тут снова сокращение, хрущевское, на шестьсот тысяч. Я снова вернулся, стал работать в Гродно, в газете, книжка вышла... А в начале шестидесятых — у меня уже несколько повестей было опубликовано — начали усиленно формироваться ракетные войска, я капитан, командир батареи, так что снова вызвали в военкомат. Дали анкету — как тогда полагалось, на сто вопросов. Вижу — пахнет третьей мобилизацией: я через друга-журналиста вышел на начальника так называемой второй части горвоенкома-

та, полковника, ведавшего призывом, и пригласил его в ресторан. Чтобы, значит, я его напоил, а он меня освободил. Сколько можно издеваться, я ж никогда в армии служить не хотел! Этот полковник меня и спрашивает: ты в плену не был? Не был. На оккупированной территории тоже? Тоже. А из родственников кто-нибудь под немцами не оказался? Тоже нет, и на Западе никого, со всех сторон я чист, вот незадача. И тут я вспомнил: у меня двоюродный брат без вести пропал. Это меня и спасло от третьего призыва.

— *Вы же никогда не партизанили, откуда столько знаете об этом?*

— Сейчас стало выдыхаться, а тогда в Белоруссии все дышало той памятью. Я сначала писал о собственном фронтовом опыте, а потом партизаны заговорили, когда уже немного можно стало, — и где-то с середины шестидесятых я писал партизанский цикл. Мне кажется, на этом материале все обостряется — люди мирные, воевать профессионально не умеют, им страшнее, чем на фронте, в тылу врага больше риска, — в общем, оптимальная среда для моих сюжетов.

— *Кстати, вы прочли «Прокляты и убиты» Астафьева?*

— Да. Хорошо.

— *А многие говорят, что это совсем не та война, которую они помнят...*

— Ну и Ремарку то же самое говорили после «На западном фронте без перемен». Память человеческая не беспредельна и потому избирательна. Люди стараются стирать худшее. Астафьев — художник такой мощи душевной, что запомнил самое жут-

кое, вплоть до мелочей. Он имеет право на такой взгляд, все это видел — такого не придумаешь. Я читаю — и вспоминаю, что и я ведь это видел... этих крыс, копошащихся под рогожей возле трупа... Я подтверждаю: было. Моя память фиксировала другое, а это — выталкивала; надо благодарить Астафьева, что он выдерживает такой взгляд на вещи.

— *У вас тоже везде страшно, и на этом фоне выделяется романтическая «Альпийская баллада» — тоже двое, тоже предельная ситуация, тоже трагедия, а все-таки светло. Это чистый вымысел?*

— Не совсем. В Австрии вдоль нашей колонны ходила молоденькая итальянка и у всех спрашивала, где Иван, нет ли Ивана... Ей кричали: красавица, иди сюда, я Иван! Она мотала головой: не тот. Я задержался около нее и, мешая русские слова с немецкими, стал расспрашивать, какой Иван ей нужен. Она так же путано, то словами, то жестами, объяснила, что с русским солдатом Иваном она бежала из концлагеря, который разбомбили. Они две недели скитались в Альпах, любовь была, только они спорили все время: она была итальянская партизанка и звала его в Италию, а он хотел пробираться к своим. А потом они нарвались на засаду — он приказал ей бежать, а сам стал отбиваться. Больше она о нем ничего не знала. Остальное я придумал.

— *И «Сотников», и «Обелиск» мне казались всегда вещами полемическими — вы словно решились реабилитировать интеллигента на войне.*

— Ну, так глобально я не мыслил, просто хотел уйти от шаблона. Стереотип, например, был такой:

наши — все хорошие, но все разные. Немцы — все одинаковые. А это было не так: я из разговоров с теми, кто попал в оккупацию, узнавал, что не все немцы выполняли директивы командования. Взять хоть Паулюса, командующего шестой немецкой армией: директива была — евреев и комиссаров расстреливать на месте, в плен не брать. Паулюс считал недостойным традиций немецкого офицерства расправляться с пленными — и отправлял комиссаров и евреев в лагеря. Тоже на гибель, но отсроченную, с шансом спастись. С нашей стороны такого не было, чтобы приказ ставился под сомнение. И, может быть, именно благодаря этому победили, я не отрицаю... Есть масса свидетельств, что немцы на оккупированных территориях проявляли совершенно неожиданный гуманизм. Дело в том, что фашизм расчеловечивал немцев только десять лет. А наших расчеловечивали двадцать пять. Так что все слушались.

Но интеллигенция на войне — проблема особая, первым ее коснулся Виктор Некрасов. Интеллигенция тем и отличалась, что в отличие от пролетариата или крестьянства (хотя я не люблю классовый подход) не утратила основ христианского гуманизма. Вот из этих людей, не до конца расчеловеченных, — Сотников. Таким досталось тяжелее всего — у других приказ заменил совесть, всю ответственность можно было перевалить на командование, на власть... А Сотников, или Мороз из «Обелиска», или лейтенант из «Дожить до рассвета» — действуют под свою ответственность, так что они дважды обречены.

— Но были же бесконечные дискуссии — а если бы Сотников стал предателем? Могли же помиловать всех, кого вместе с ним казнили!

— Не думаю.

— Может, гуманнее было бы согласиться на сотрудничество с немцами?

— Нет, они умели обрабатывать... Они заставляли начинать с маленького предательства, а потом человек в этом погрязал все глубже и глубже. Никто бы их не помиловал — ни девочку, ни женщину, ни старика... За связь с партизанами карали жестоко. Но тут есть другой аспект — за упоминание его я тоже свое получаю, но что поделаешь, так было: огромное количество мирных жителей пострадали от немцев по вине партизан. Была негласная установка: чем немцы злее относятся к населению, тем лучше. Тем больше будет ответная ненависть. Был роман замечательного словацкого писателя Мняшека — «Смерть зовется Энгельхен». Этот автор потом перестал у нас печататься вследствие известных событий 1968 года. Так вот, он в пятидесятых не побоялся написать о том, как партизаны уходят в горы и оставляют город — а что делать, не могут же они всех забрать с собой...

— Вам нравится фильм Шепитько «Восхождение»?

— Это лучшая из моих экранизаций.

— И как сейчас складываются ваши отношения с Гостюхиным?*

* Владимир Гостюхин — исполнитель роли Рыбака в фильме, примкнувший к национал-патриотам «завтрашнего» толка, яркий сторонник Лукашенко. — Д.Б.

— Никаких отношений с этим человеком у меня нет.

— *А вы знаете, что во время приезда Окуджавы...*

— Он швырнул ему под ноги его пластинку и обозвал фашистом; да, знаю. Окуджава был к этому готов — его предупредили, что перед входом в зал окажется эта публика. В зале были те, кто надо. А перед залом — те самые. Окуджава был, как всегда, сдержан, холоден... хорошо пел...

— *Окуджава говорил, что ему повезло: он был мимометчиком и никогда не видел людей, которых убил. А вы видели?*

— Я же в пехоте служил. Конечно, видел.

— *Интересно, а однополчане, бывшие фронтовики — поддерживают вас в противостоянии режиму?*

— Тут специально послали эмиссаров по моим однополчанам, чтобы собрать с них подписи под письмом, как плохо я воевал. Получить такую информацию, правда, не сумели, обошлись письмом о том, что я предал Победу. У меня была статья такая в «Аргументах и фактах» — о том, что мы своей победой против собственной воли укрепили сталинское зло. Это не нынешняя, а давняя моя мысль, первое мое воспоминание — рыдания матери после того, как у нас в коллективизацию все забрали. И когда Сталин умер, я как раз служил на Дальнем Востоке, нас всех собрали, выходит командир части: «Товарищи офицеры! Скончался величайший и та-та-та и та-та-та»... Я вполне отчетливо подумал: и слава тебе Господи! Так что я действительно думаю, что победа в конечном итоге была у нас украдена. И за то, что я это на-

писал, часть ветеранов меня спешит назвать предателем. Я не удивляюсь.

— *Давайте перейдем к материям более веселым: мы оба Быковы, хоть я ни в коем случае себя с вами не равняю. А все-таки — есть что-то в этой фамилии, что определяет ваш характер? Упрямство, например, бычья твердость...*

— Какая твердость, я всю жизнь больше всего страдаю от собственной мягкости.

— *Но, может быть, способность впасть в бешенство?*

— Бешенство у меня вызывает только наглое, сознающее себя зло, мучители человека, наслаждающиеся собственной мерзостью и вседозволенностью.

— *Не может быть, чтобы все Быковы не были хоть чем-то объединены!*

— Не получится у нас с вами веселого разговора о Быковых. Вот статья обо мне — «Обыкновенный Иуда». Напечатана только что в местной пропрезидентской газете. Дарю на память. О том, как я воспел когда-то Сотникова, а теперь далеко и невозвратимо зашел по пути предателя Рыбака. И написана она — или, во всяком случае, подписана — белорусским ветераном Вилем Быковым.

— *Опозорил фамилию!*

— Так-то вот, Дима, попал я в Иуды.

— *Слушайте! Но, может быть, раз такая травля, — вам хоть уехать? В Москву?*

— Зачем же мне бежать? Да и потом, на Западе мне будет не о чем писать, а в Москве меня никто особенно не ждет.

— *Но вас ведь в Белоруссии не издают.*

— И в Москве сейчас почти не издают. Я живу на пенсию.

— *Василь Владимирович! Ей-богу, поезжайте в Москву! Вы не представляете, до чего вам будут рады!*

— Я сейчас все больше подумываю о переселении не в другой город, а в какой-нибудь более комфортный мир.

— *Бог даст, вы еще в этом побудете нам в утешение. И напишете новое.*

— Да, я сейчас пишу несколько по-другому. Войну свою я, в общем, написал. Но поскольку предельные ситуации продолжают меня волновать, думаю теперь написать несколько рассказов о КГБ. О том, как в послевоенное время ломали людей. Это было ничуть не легче, чем на войне.

— *Но не может ли так получиться, что в Белоруссии под коммунистическим гнетом вдруг родится новая большая литература? Есть же теория, что гнет для литературы продуктивен. Возьмите гнилые семидесятые, когда была блестящая фронтовая плеяда — Бакланов, вы, Бондарев еще писал вполне прилично, — и деревенщики, и горожане — от Маканина до Трифонова... Может быть, начнется настоящее духовное сопротивление?*

— Утешительно было бы так думать, хотя взлет литературы вряд ли окупает трагедию целого народа. В Белоруссии и сейчас есть отличные писатели и художники. Например, Михаил Савицкий, создатель потрясающих картин, на которых — лагерь, плен, кошмар... Он с Лукашенко. Хотя хороший художник и честный человек. И упомянутый вами

Гостюхин отнюдь не бездарь. Но главное, почему я думаю, что взлета литературы не будет, — я не вижу сил, способных оказывать режиму духовное сопротивление. Белоруссия очень быстро превратилась в подобие своего вождя, отпечаток его личности лег на все, и люди сами себя не узнают. Прошло каких-то два года, а страну не узнать. Я не думаю, что в обществе, так легко давшем себя поработить, возможен культурный ренессанс. Пока, наоборот, замолчали и те немногие, которые заявили о себе в восьмидесятые годы.

— *Только не поддавайтесь мысли о том, что литература — включая вашу — ничего не может сделать с людьми и никак на них не влияет.*

— А у меня и не было задачи формировать, учить, влиять... Я пытался говорить о том, как человек сохраняет лицо. Никакого другого оружия ему не дано.

Вера Глаголева

После разговора с Глаголевой я пошел в буфет Дома кино и напился. Там как раз чествовали известного документалиста по случаю гораздо более круглого, чем у Глаголевой, юбилея. За столом буйствовал известный актер и режиссер Б., только что сыгравший в фильме известного режиссера Б. по роману известного писателя Б. роль известного кота Б. Актер Б. выражался в том смысле, что всех москвичей надо учить мордой об стол, потому что они, в отличие от петербуржан, повально продались.

— А ты чего тут делаешь? — узнал он меня.

— Напиться хочу, — честно сказал я.

— С тоски или с радости? — спросил он деловито.

Этот вопрос поставил меня в тупик. Я всякий раз тоскую и радуюсь, получая подтверждение старой мысли Рэя Брэдбери о том, что человек и есть машина времени, потому что он свободно путешествует по нему туда-сюда, а сам не меняется. И ничто не изменилось. Вера Глаголева была моим абсолютным идеалом женской красоты с тех пор, как я в подростковом возрасте увидел обычную советскую комедию «Искренне ваш». Фильм «Выйти замуж за капитана» я смотрел шесть раз, потому что ее там полсекунды видно топлесс. Однажды я с ней в одном московском доме два этажа ехал в лифте, и это было самое романтическое путешествие за всю мою жизнь.

— Не знаю, Саша, — сказал я. — Я сейчас Глаголеву видел, Веру.

— Она тут? — живо заинтересовался он.

— Нет, домой поехала.

— Ну, тогда пей, — разрешил он. — Из-за Веры можно.

— Дим, я тут подумала... Вы же критик все-таки, и к вам даже кто-то прислушивается. Может, вам взять и написать про меня просто так, без разговора?

— *Нет, я так не могу. Я с пятнадцати лет мечтаю с вами поговорить.*

— Ага, да, очень приятно. Мне часто говорят такие взрослые люди, лет по семьдесят: «Я вырос на ваших фильмах».

— *Нет, я не вырос. Я на них сломался. С тех пор только на этот тип и западаю.*

— Кстати, я уже раздала за последнее время несколько интервью. Вас не смущает, что вы можете с кем-то пересечься, совпасть? Я обычно не вру, так что всем говорю более или менее одно и то же.

— *Уверяю вас, я найду о чем спросить помимо юбилея.*

— Да? Хи-хи. (*Этот глаголевский смешок и это встряхивание челкой знакомы мне слишком хорошо, с таким видом девочки нашего времени брали нас на слабó.*) Ну попробуйте.

— *Вера, вам случалось замечать некие общие черты в людях, которые вас считают идеалом? Вы же не можете не знать об этом фан-клубе.*

— Вот видите, на первый же ваш вопрос я не могу ответить, потому что тем самым я признаю

существование этого фан-клуба. Получается, что для кого-то я идеал. Я эту роль не могу примерять, я могу быть максимум любимой актрисой, и то нескромно признаваться, что мне об этом говорят.

— *Но все-таки: те, кто вас называет любимой актрисой, — их что-то роднит, помимо любви к вам?*

— Ну, с одной стороны военные. Во всех воинских частях, во всех училищах постоянно крутили «Капитана» для поднятия престижа офицерства. Во-вторых, в основном интеллигенты. Романтические натуры.

— *Я даже думаю, мазохисты. Поклонники изломанных, нервных девушек, не знающих, чего они хотят. У нас это называлось «девушка-роковуха».*

— Господи, что за глупости! И слово какое противное! Где вы у меня видели изломанную девушку? Героиня «Искренне ваш», которая, если вам верить, оказала на вас такое действие, — слишком хорошо знает, чего она хочет; боюсь, я для этой роли не совсем подходила, потому что играть стерв-карьеристок мне больше не доводилось, и вообще у меня с отрицательными ролями не складывалось — зритель плохо верит в мое мерзкое коварство. Героиня «Капитана» — обычная взбалмошная девчонка, легко сходящаяся с людьми. Героиня «Торпедоносцев» не успевает в фильме ничего сделать — вот она проснулась рядом с мужем в его день рождения, а вот он вышел в море и погиб, и ничего, кроме этого огромного, раздавившего ее горя, у нее нет. Единственный изломанный персонаж — ну так у нее, простите, такие обстоятельства, — художница Шурочка из «Звездопада», я там мелькаю ненадолго в гостях у главной героини, пытаюсь соблазнить солдатика;

ну так у этой Шурочки только что разбомбили дом, где погибли родители, она совершенно одна, ей некуда деваться, она глотает спирт, смолит «Беломор», а год назад была домашним ребенком. В остальном все мои героини были до такой степени душевно здоровы, что их никак не удавалось сломать — даже в третьей картине «В четверг и больше никогда», которую часто называют первой, потому что ее заметили. Там я играла девушку, которая так и не понимает, что с ней случилось. Если бы поняла, то, наверное, эгоистичный горожанин, которого играл Даль, непременно сломал бы ей жизнь. Но фильм-то про то и был, — я потом только это поняла, потому что во время съемок была слишком молода, — что при всей своей несимпатичности этот герой ничего не сумел разрушить. Этот мир заповедника, куда он наезжает, — мир настолько чистый и прочный, что с ним ничего не сделаешь. Просто они, живущие там, — другие люди, и в их власти — вообще отгородиться от чужих. Сама я примерно так и поступаю, потому что меня ведь никто не обязывает контактировать со всякими противными вещами. Я, например, принципиально не читаю того, что пишут обо мне в Интернете.

— *А что, гадости?*

— Просто вранье. Ни на чем не основанное, абсурдное, но верят же люди! Я постоянно узнаю о своих новых пластических операциях, о том, что мне можно больше не носить черные очки, потому что я сделала какие-то подтяжки... Сказочное количество моих друзей и любовников, потрясающие приключения дочерей...

— *На вашем месте я бы читал. Интересно.*

— Это читают специальные люди, от которых я и узнаю наиболее увлекательные подробности. Не беспокойтесь, каждый автор будет наказан.

— *Высшими силами?*

— Ну что я буду беспокоить высшие силы по такому поводу? Нормальный земной суд.

— *Вы судитесь?*

— Опять-таки не я, а мои представители. Я не требую, чтобы меня хвалили. Я не обижаюсь на разносные рецензии. Я ставлю одно условие: не врать. Я же не вру!

— *Тем не менее, Вера, вы сильная актриса, и это видно даже в разговоре.*

— Это чрезвычайно обидный комплимент.

— *Почему?*

— Потому что я с вами ни секунды не играю. И это тоже моя профессиональная обязанность — четко отличать работу от разговоров. Играть надо в кино, в жизни нечестно.

— *И вам никогда не пригодился ваш актерский опыт — в смысле манипулирования людьми? Не поверю.*

— Почему, пригодился множество раз. Также по работе — в качестве режиссера. Там я могу и даже обязана манипулировать людьми. Чтобы на меня не обижался, например, оператор, когда мы вместе придумываем кадр. Я, само собой, смотрю в камеру — теперь легче, есть монитор... И если мне что-то не нравится, я спорю; и спорить я обязана так, чтобы он не обиделся. Это и есть актерское — почему актеру и проще быть режиссером: он умеет на площадке вовремя быть злым и добрым, изобразить гнев, когда надо... В жизни я никогда ничего

не изображаю, с этим потом слишком много проблем.

— *Возраст вас как-нибудь беспокоит? Я обещал не говорить про юбилей, но не можете же вы вообще не замечать таких вещей...*

— Почему? Юбилей — это очень грустно. Я могла бы не замечать возраста — или по крайней мере делать вид, что я его не замечаю, потому что кого волнуют мои внутренние дела? — но хороших возрастных ролей в мировом репертуаре мало.

— *Почему? Раневская, Гертруда...*

— А кроме? Женщина после сорока в кино появляется редко, на вторых и, как правило, несимпатичных ролях. Мне повезло — у меня в жизни все вовремя. Кино — в котором, правда, лучших моих ролей почти никто не видел. Они пришлись на вторую половину восьмидесятых, на девяностые, на прокатную яму, в которой оказался, например, фильм Карасика «Без солнца (На дне)». Одна из любимых моих картин, сложная и интересная экранизация Горького с Бароном — Смоктуновским. Кто бы во мне, при моем современном типаже, разглядел Настю? Но Карасик это сделал, и я всегда ему благодарна. Это был режиссер незамеченный, почти никто не заметил даже его смерти год назад, — но очень интересный. Потом, когда в кино по разным причинам стало нечего играть и вдобавок мне не захотелось повторяться, появилась антреприза Леонида Трушкина. Я никогда не играла в репертуарном театре, но в антрепризе много ездила и сыграла несколько ролей, за которые всегда буду благодарна. Наш спектакль с Игорем Бочкиным «Русская рулетка» мы возили по всей стране, и это

была интересная работа, интересная во всем — от общения с Бочкиным, очень сильным актером, до общения с залом, чего никогда не бывает в кино. А сейчас я занимаюсь в основном режиссурой, и это тоже хорошо и тоже вовремя. Лучшее, что я тут сделала, — фильм «Заказ», который ровно в этот день выходит на DVD.

— *Это заказ? В смысле... сами понимаете, картина с таким названием наводит на мысль о некоем протесте против культуры, где все делается по заказу и за деньги.*

— Нет, там про другое. Хотя, наверное, есть и этот смысл, надо подумать. Я же говорю, вы критик, все придумаете лучше меня... «Заказ» — это сценарий Сергея Ашкенази, поставившего когда-то очень занятный фильм «Криминальный талант» с замечательной Сашей Захаровой. Любовная история, только странная. Мне вообще неинтересно снимать — и думать, и говорить — про такую любовь, в которой все сложно и не сразу. Хотя можно снять историю про то, как увиделись и тут же трахнулись.

— *Почему, это тоже интересно, своя драма...*

— Своя, но не моя. В «Заказе» все довольно грустно — там женщина, которую играет совершенно, по-моему, гениальная Наташа Вдовина, хочет покончить с собой после тяжелой любовной драмы. Но сил на это у нее не хватает. И тогда она заказывает себя киллеру.

— *Хитро.*

— В общем, да. А потом они влюбляются друг в друга, но вдруг ей приходит в голову, что он причастен к одному очень кровавому, очень массовому, совершенно непростительному убийству. И тут на-

чинается самое интересное, которого я вам не расскажу.

— *Да я куплю DVD...*

— Я вовсе не заинтересована в том, чтобы вы трагитались. Я просто пересказывать не хочу. Вот вы будете мне показывать интервью — я вам подарю диск обязательно. Впрочем, вы мне можете текст прислать по Интернету, если вам лень приезжать...

— *Нет, что вы, какая лень! Я счастлив буду лишнему предлогу...*

— Ладно, хватит, вы переигрываете.

— *Честное слово! Но вам Вдовина действительно кажется гениальной?*

— Да. При этом у нее всего одна заметная роль — в «Возвращении».

— *Кстати, как вам «Возвращение»?*

— Я не ругаю коллег. Это сильное кино, недоговоренное во многом, с незавершенной фабурой — что воспринимается некоторыми как многозначность, — но там гениальная игра детей и потрясающая операторская работа. Этого достаточно, чтобы картина была событием. У Вдовиной там эпизодическая роль — и что? Я вообще считаю, что в эпизодических ролях иногда можно сказать больше, чем в главных. У меня была главная роль в первом же фильме — «На край света», по пьесе Розова. Там одну из последних ролей сыграл Борис Андреев. Думаю, это лучшее, что было в картине.

— *Какое кино вы вообще любите? Мне трудно представить ваши вкусы...*

— Самое разное. Но мои вкусы не экстравагантны. Из любимого... ну, наверное, «Поворот» с Шоном Пенном. Это ведь Стоун, кажется, да?

— *Стоун, девяносто седьмой год.*

— Вот это, понимаете... это такое кино, которое я хотела бы снимать. Там фантастические люди, в существование которых нельзя поверить, и вместе с тем ты на все ловишься и всему веришь. Совершенно свой мир. Вот умение строить свой мир я ценю выше всего — и в кино, и в людях.

— *Но вы не можете не пересекаться с внешним миром.*

— Могу, запросто. Я могу минимизировать эти контакты.

— *И как вам — сложному человеку, чего там, человеку семидесятых годов, — в этом предельно упрощенном мире двухтысячных? В котором все так плоско? Я вот смотрю на вас — у вас в минуту меняется на лице двадцать выражений, и в каждой вашей фразе двойное дно, и я застал времена, когда все было так. А сейчас...*

— И что такого сейчас? Для меня есть особый интерес, особенная игра — в том, чтобы вписываться в это двумерное пространство. Я воспринимаю это как драму, которую сама жизнь для меня поставила. Это требует новых качеств, это вообще увлекательно — другой мир... Не у каждого была возможность прожить несколько жизней в двух разных, по сути, странах.

— *И с двумя разными мужьями.*

— Родившимися в один день, 21 января. Ровно за 10 дней до моего дня рождения. Это судьба (хи-хи). Я только вас хочу предостеречь от одного заблуждения. Не надо думать, что у меня было две разных жизни. Она одна, моя, я ее не делю. Я придерживаюсь одних и тех же правил.

— *Вы говорили, что у вас все вовремя. А для женщины так рано выйти замуж — это хорошо?*

— По нынешним меркам я вышла замуж не так уж рано. Мне было двадцать лет. Одна моя дочь замужем, другая даже уже развелась... В общем, в моем случае оба замужества были вовремя. Первое — потому что мне надо было как-то определиться в жизни. Второе — потому что тогда, в тридцать семь лет, я была в трудных обстоятельствах. Все, без комментариев.

— *Развейте еще одну легенду о себе. Правда ли, что вы об актерской карьере и не помышляли, занимаясь стрельбой из лука?*

— Это чистая правда, никакая не легенда, я довольно быстро выполнила норматив мастера, минуя кандидата.

— *Каким образом вы увлеклись таким, в общем, неженским спортом?*

— Ну, он нелегкий, да. Надо же делать три выстрела. Двенадцать серий по три выстрела. Не так тяжел сам лук, как тяжело натягивать тетиву. Это по весу аналогично шестнадцати, кажется, килограммам. Здорово устаешь.

— *А сейчас вы могли бы?*

— Думаю, запросто.

— *Даже без дополнительных тренировок?*

— Знаете, это как велосипед. Не разучишься. Это должно быть, что называется, в руке.

— *Есть у вас безоговорочно любимая роль, из ваших?*

— Есть, но вы эту картину тоже не видели. «Сшедшие с небес», по повести Каплера «Двое из двадцати миллионов». Про войну, про аджимуш-

кайские каменоломни. Снимала это мама Димы Месхиева, Наталья Трощенко. Там совершенно необычный Абдулов, романтический, слабый, чего почти не бывает... Да, это любимая роль, наверное. Восемьдесят пятый, кажется, год. Тоже упала в прокатную яму, но я сыграла — и этот опыт при мне, он от проката не зависит.

— *Вера, у меня к вам последний вопрос, но я боюсь его задавать.*

— После всего, что уже было сказано?! Ничего не бойтесь.

— *Вам не обидно, что вы столько всего сыграли, даже сняли... и выглядите до сих пор такой девчонкой?*

— Да почему, с какой стати мне это должно быть обидно? Я должна быть счастлива, что у меня это получилось, почти без всяких усилий с моей стороны. Я ведь женщина, не забывайте. Мне обидно было бы выглядеть на семьдесят лет. Вот вам — обидно было бы выглядеть младше?

— *Не знаю. Наверное, да.*

— А мне — нет. Хи-хи!

И она уехала в своей машине. Ее дома ждала младшая дочь.

А я пошел и напился.

Григорий Горин

Остановить Потапова или забыть Герострата? Дом, который построил Горин. Свифт, которого построил Горин. Горин, которого построил Свифт. Нет, не то. Формула любви. Было. Обыкновенное чудо. Было. О бедном Горине... тьфу! Первый курс журфака.

. — *Григорий Израилевич, что вы делаете, когда не знаете, как начать?*

— Еду в Красновидово, к себе на дачу. К любимой жене и старой собаке. Там включаю компьютер и долго думаю.

— *Любимая жена и компьютер у меня есть. Можно, я с женой и компьютером приеду к вам в Красновидово? К собаке?*

На самом деле это я использую прием Горина, разработанный им задолго до того, как все заговорили о пост-модернизме. Он уже давно рассказывает не собственно историю, а историю о том, как рассказывают историю. Называется «обрамление». В новогодней буффонаде Ленкома «Дорогая Памела» на сцену прежде всего выходит Человек театра. И начинает рассказывать о том, почему такие плохие декорации: «Нищета так нищета!». «Дом, который построил Свифт» начинается с раздоров в съемочной группе. Последний сценарий Горина «Трехрублевая

опера» — о том, как в безденежной современной России снимают «Трехгрошовую оперу» и денег не хватает. Действительно не хватило. Так и остановили этот фильм.

— *Григорий Израилевич, а почему вы так делаете?*

— Историю про историю? Ну, с одной стороны, это такое преодоление условности. Вам не приходится делать усилия, чтобы поверить, что все происходит не понарошку. Вам с самого начала говорят: понарошку. Вот режиссер, вот актеры, у них что-то не ладится... А потом... понимаете, идеальный театр — это когда никого из актеров не знают в лицо. Вот они впервые появились, и вам как бы открыли окошко в другой мир. Так было на первых постановках Петрушевской, у раннего Виктюка. А когда вся ленкомовская труппа не вылезает из телевизора, вы разве поверите, что вот это доктор, а это Свифт? Вы прекрасно знаете, что это Медведь, а это Волшебник... Костолевский — не король, Лазарев — не Кин, они играют актеров, которые играют актеров. Правда ведь, интереснее, когда идет двойное действие? Я как раз на «Памеле» это смекнул. А до меня смекнул Брехт, но у него все слишком отдает публицистикой. Так что я стараюсь проскользнуть где-то посерединочке между традиционным театром и брехтовским голым обращением к публике. Как в анекдоте про советского министра, во время дождя пробиравшегося между струйками.

— *Мы встречаемся в канун Нового года — как раз когда у вас заканчивается «Трехрублевая». Я вообще заметил за вами слабость к праздничным финалам, к такому разомкнутому действию, когда вы вместо*

ответов на вопросы — заведомо, кстати, неразрешимые — уходите в чистое зрелище, в праздник без виноватых, все ужасно, но все пляшут...

— Я люблю праздники, это мое представление о театре. Русская драматургия, к сожалению, отравлена чеховской, которая вообще-то уверяет, что жизнь бессмысленна и давайте поэтому работать... Мне представляется — при всем моем уважении к Чехову, — что сегодня для констатации этого факта достаточно слазить в Интернет, и сразу поймешь, что жизнь бессмысленна. А если человек надевает вечерний костюм и выбирается из дома, тем более в такую погоду, — надо показать ему карнавал. Что касается веселья пополам с отчаянием, трагифарса (а Новый год действительно сочетает тоску по уходящей жизни и праздник по этому же поводу), то манера так сочинять у меня появилась, по-моему, еще очень давно, когда я писал рассказы. У меня они были маленькие — например, «Хочу харчо!» — и большие, то есть страниц по двадцать. И вот был такой рассказ «Случай на фабрике номер шесть», про инженера Ларичева, который не умел материться и очень от этого страдал, потому что с работягами иначе объясниться нельзя. А он специалист прекрасный, но все у него из-за вот этого неумения говорить на адекватном языке валится из рук. Не слушает никто. И ему нанимают репетитора, простого малого, из шоферов, который с ним начинает проводить лингафонный курс — они вместе наговаривают мат на магнитофон. Ларичев смущается: как это так, нужен же повод! Ты что, говорит шофер! На работу пришел — вот тебе и повод. И наконец

Ларичеву приходится впервые этим навыком воспользоваться. Он на кого-то орет, матерится, весь белеет... и от сердечного приступа умирает. Смерть чиновника.

Тогда работяга этот, шофер, во время обеденного перерыва пробирается в радиорубку. И там говорит: умер Ларичев. Очень жалко, хороший был мужик, а кто виноват? Да мы же все и виноваты! И включает на полную громкость эту пленку с матом, лингафонный курс... Поначалу все смотрят на динамик и ржут. А потом до них постепенно доходит. И они начинают один за другим вставать. Понимаете? Звучит «Еб твою мать», и — все встают. Катарсис. Это то впечатление, которого я пытаюсь достичь в театре.

— *Кстати, лично для вас — Мюнхгаузен все-таки умирает?*

— Для остальных персонажей — да, для меня — нет. Это другая моя слабость, к побегу в финале. Помните в «Мюнхгаузене» лестницу? Лезет, лезет, лезет — бесконечно. И в конце «Кина IV» тоже придумали лестницу, с явным намеком на тот финал, только Янковский лез вверх, а Костолевский спускается с балкона в лодку. Но и тот, и другой — сбегают. Это довольно распространенный драматургический прием — финальный прыжок в окно. Мне он страшно нравится. Потому что это побег из обычной реальности, дырка в другое измерение, и в результате смерть выглядит как полет.

— *У меня вообще такое ощущение, что вы всячески избегаете смерти героя в конце. То расстрел оказывается инсценировкой, то самоубийство не удаётся, то явно обреченное предприятие выносится за кадр,*

как полет на пушечном ядре... Либо вы очень боитесь смерти, либо думаете, что ее нет.

— Я врач и думаю, что ее нет. Хотя именно как врач видел ее в самом что ни на есть располосованном виде. Вскрытие видел. И все-таки думаю, что нет. Своего рода буддизм. Ничто никуда не девается. Хотя думать об этом все равно приходится, ни о чем другом, в общем, человек и не думает... Мне кажется, есть смысл как-то карнавализовать и это мероприятие, чтобы его несколько отрепетировать. Вот Свифт: ему запретили печататься. Он стал выступать под псевдонимами, а себя заживо похоронил. Власти знают, что все псевдонимы принадлежат ему, он знает, что они это знают, — но вот они играют в такую игру. Он себе устраивает похороны — декан Свифт умер, декана Свифта больше нет, он даже стихи такие написал. А сам живет, пишет, публикуется, но это уже другая жизнь.

Вот я сейчас пишу «Песнь песней»...

— *«Вон сунуло куда!» — писал Пушкин о Батюшкове...*

— Да, меня широко мечет по мировой истории... Это вещь по заказу американцев, про царя Соломона. Я стал изучать «Песнь песней» и много общаться с правоверными иудеями. Они мне объяснили, что есть четыре уровня постижения священного текста. Вот восприятие на уровне сюжета: царь Соломон имел семьсот жен и триста наложниц, потом встретил простую девушку Суламифь и полюбил ее бессмертной любовью. Это уровень самый низкий. Есть второй, метафорический: оказывается, полюбить-то он ее полюбил, но на самом деле книга эта — о любви Бога к своему народу. На

этом уровне вы учитываете все толкования, трактовки, труды богословов... Третий уровень — буквы, их магия. Этим занимается каббала. А четвертый уровень — тайна, и вы все равно ничего с этим не сделаете, потому что она остается всегда.

Так и смерть, я думаю. На первом уровне мы знаем о самом факте смерти, на втором — пытаемся понять ее причины, исторический контекст, какие-то аналогии, на третьем — читаем всякое шарлатанство о белом коридоре и о свете в конце... А на четвертом уровне — тайна, бессмертие, и никуда от этого не денешься.

— Ну, утешительно то, что когда-нибудь все выяснится...

— Знаете, уже сейчас кое-что выясняется. Человека можно обессмертить уже с помощью компьютера. Я мог бы, например, написать сценарий клипа, в котором бы ожил Андрей Миронов, то есть будут так смонтированы фрагменты его картин, что он станет выглядеть как живой. А в каком-нибудь 2050 году станет можно оживить всю труппу Ленкома. Компьютерная игра «Microsoft Lensom», представляете? Компьютерный Горин, полно описанный на нескольких дисках, пишет пьесу. Виртуальный Захаров ее ставит. Компьютерные Леонов и Пельтцер разыгрывают. И только от вашего таланта зависит, получится это лучше, чем было, или нет.

— В известном смысле вы этим и занимаетесь. Берется старая пьеса, и по мотивам ее творится осовремененная, вполне живая... Почему вы предпочитаете работать «по мотивам»? Вам нравится выворачивать наизнанку чужой текст и героев, или так

безопаснее проскакивают намеки на современность, или вы просто любите костюмные вещи, а о костюмных временах все уже написано?

— Действуют все перечисленные вами причины плюс склад моего характера. Все люди с фефектом фечи много говорят. А я пришепетываю с детства и ничего не могу с этим сделать, потому что у меня прикус неправильный. В молодости это и воспринимается как признак индивидуальности, многим нравится, а в стариках отталкивает. Так что я и рад бы исправиться, но увы. И вот я с этим пришепетыванием все время отлавливал одноклассников и рассказывал им какие-то сюжеты. Причем врал половину. Если учитель среди урока выходил куда-то, меня оставляли за него, и я говорил, говорил, говорил... Так у меня появилась привычка выплетать какие-то собственные узоры вокруг уже имеющихся. Но это не кража героев, как вот делают разные люди, продолжающие «Войну и мир», где у них там жены декабристов выведены какими-то сексуальными монстрами... Я никогда не заимствую героев. Я обрабатываю только бродячие сюжеты. Чтобы последним пристроиться в шеренгу авторов, но не брать у них готового персонажа. Тиля придумал не Костер. Мюнхгаузен существовал независимо от Распэ. О Ромео и Джульетте до Шекспира писал Бьянделло.

— *Кстати, для меня совершенной неожиданностью оказалась ваша пьеса «Чума на оба ваши дома». Шекспира на моей памяти так не перелицовывали.*

— Для меня тоже неожиданность. Писано без всякого заказа, исключительно по азартному побуждению. Если бы эта пьеса не была осенена именем

Шекспира, любой профессиональный драматург пришел бы в ужас от количества драматических несообразностей, которые там наворожены. Дивлюсь на фра Лоренцо — как это он так опростоволосился, умнейший человек, что из-за идиотских случайностей вышла трагедия с двумя самоубийствами. Я был в Италии, видел памятник Джульетте, записочки, которые туда кладут... Эти двое несчастных превратились в символ возвышенной абсолютной любви. А рядом с ними, я уверен, существовали свои жулики, торговцы, священники, люди влюблялись в чужих жен, жены несвоевременно беременели, шла густая средневековая жизнь... И потом, должно же было что-то случиться после их гибели. Что-то они купили такой ценой, верно? Кидаюсь к первоисточнику. Оказывается, купили. Очень недолгое перемирие Монтекки и Капулетти. А потом все снова заварилось.

И я подумал: а может, у этой вражды есть еще и тот мотив, что старшие представители родов в свое время погуливали налево, что-то там такое было еще до Ромео и Джульетты? И написал про них...

— *Очень мрачно написали.*

— А как же! Ни одна по-настоящему сильная любовь не обходится без разрушений, без катастрофы, если хотите. Она вокруг себя сеет ужас, и потом — мы в такое время живем, что уже ясно: очень трудно сохранить верность одному партнеру. Неизбежны какие-то трагические всплески, не любовник заведется, так судьба разлучит. Очень редко так бывает, чтобы жили долго и счастливо и умерли в один день. А то проживут долго и счастливо, умрут в один день,

потом прочтешь дневники — батюшки! так это же был ад ежедневный!

— *И какой выход?*

— Не знаю. Некоторые пробуют жить втроем, это вариант довольно распространенный в истории литературы. Один любит двоих, выбрать не может, вот как Свифт или один мой знакомый, сейчас расскажу... Нет, не расскажу. Я вам лучше пример из истории приведу. У Гюго была жена и любовница. И когда он оказался в изгнании, они жили рядом и всячески друг другу помогали. Французы были глубоко тронуты и очень одобряли это. Объявись в этой идиллии четвертое лицо, они бы всех громогласно осудили, но втроем — это почти нормально. И я думаю, что в наш относительный, зыбкий век трагедия незаконной любви должна как-то по-другому трактоваться, а не так, что все скоты и все виноваты...

— *Поклонницы вам в любви признаются?*

— Ну, это не совсем признания в любви... но вот я вам сейчас похвастаюсь и покажу одно письмо. Сегодня получил. Ради таких мгновений только и стоит писать. Пишет женщина, ей тридцать шесть, у нее есть мать, муж, дочь и кошка. Она про это сразу пишет, чтобы обрубить все возможные мечты и предположения с моей стороны. Вот она пишет, что у нее все мои книжки пропадают, потому что она, пропагандируя меня, дает их читать, а ей не возвращают. А сейчас у нее там ночь, внизу бешено ругается соседка, а она читает меня, и я как бы уравниваю соседку. И ей кажется, что я очень остроумный и талантливый. Я сегодня с утра хожу, переполняясь гордостью.

— *Да я бы на вашем месте привык. У вас вроде не было провалов.*

— Ни одна моя премия меня так не грела, как эти письма, честно вам говорю.

— *Но там, к сожалению, муж, дочь...*

— *Мать, кошка...*

— *А то бы можно увлечься, а?*

— Нет, какое... После двадцати семи лет идеального супружества...

— *Как же вы удержались двадцать семь лет в идеальном супружестве?*

— Жена моя — выпускница филфака, редактор, училась в Москве, но сама грузинка. Интернациональные браки, говорят, крепкие. Как-то у нас гармонично получается, я сам удивляюсь. Другое дело, что она мною недостаточно восхищается, и самое обидное, что бывает права. То есть это я бываю прав — в одном случае из ста. Вот я пишу кусок пьесы, читаю ей. Она говорит: куда-то тебя не туда повело. Я: ты что! ты ничего не понимаешь! Потом смотрю: да, не туда.

— *В семидесятые годы вы считались мастером социального, простите за выражение, диагноза. У вас был рассказ «Остановите Потапова», на котором Вадим Абдрашитов сделал первую свою славу, сняв блистательную дипломную короткометражку...*

— Только рассказ назывался «Потапов». «Остановите Потапова» — это Чаковский придумал, при первой публикации в «Литературке». А то у меня было невыражено отношение мое к герою, так ему показалось. Забыть Герострата, остановить Потапова!

— *И что это за тип — Потапов, открывателем которого вы считаетесь? Куда он исчез? — Потому что он, по-моему, исчез...*

— Никуда он не исчез, просто все мы стали Потаповыми. Я так называю людей с включенным счетчиком. Привезет девушку на свидание — такси не отпускает, у него на нее столько-то времени отведено. Столько-то на работу, столько-то на газету. Ровно в двенадцать — сон без сновидений. Эмоций нет.

— *И что, мы все сейчас такие?*

— А что, нет? Читая газету, вы переживаете из-за каждого трупа в Чечне? Из-за каждого грабежа на улице? Из-за каждого социального катаклизма? У всех нас давно притупились чувства, остался только беспрерывно щелкающий калькулятор. Успеть туда, успеть сюда, не пропустить, не забыть, не сойти с дистанции... А болевой порог всех и каждого давно и безнадежно превышен. Вы просто уже не воспринимаете жизнь, потому что всего слишком много и все это слишком страшно.

— *Я думаю, это явление скорее возрастное, чем социальное.*

— И возрастное, и социальное, потому что время такое, превышающее болевой порог. Вот мы хоронили Гердта, все его любили, идем за гробом, а на кладбище огромная толпа, люди не могут пройти к могиле. И тогда один человек — хороший человек, близко знавший Гердта, — кричит: идите через Мащенко! Мащенко — это надпись на соседней плите. А что делать, если больше никак не пройти? Это и есть превышение болевого порога, когда слишком страшные вещи настолько не восприни-

маются, что выглядят почти смешно. Мы живем во времена всеобщего Потапова, который бережет себя от любых эмоций, потому что если сейчас жить иначе — с ума сойдешь немедленно.

— *Как вы собираетесь встречать Новый год?*

— Запрусь от всех в Красновидово с женой, собакой и компьютером.

— *Вы давно пишете на компьютере?*

— Давно. Года два я воспринимаю его как члена семьи. Он все знает, все понимает, напоминает мне обо всем.

— *И что собираетесь писать сейчас?*

— Только не удивляйтесь, меня теперь часто можно увидеть в Консерватории... Мы собираемся в Ленкоме делать спектакль по Гофману. Идея такая: кот Мурр после смерти хозяина распродает его вещи. Ну, большинство вещей имеют хоть какую-то цену, а рукописи? нотные листы? И вот они слушают, что он там понаписал, разбираются, а играет всю эту музыку ансамбль Спивакова. Это первая его работа на захаровской сцене.

— *Музыка настоящая, гофмановская?*

— Нет, мы решили, что в основном это должны быть Глюк и Моцарт. Гофман вел двойную жизнь, он и имя взял себе моцартовское — Амадей, — так что это как бы музыка его души.

— *А про Соломона будете дописывать?*

— Да, я же написал только три первых эпизода. Меня больше всего в этом замысле знаете что интересует? Есть притчи Соломоновы, которые он читал своим семистам женам и тремстам наложницам, — собирал их всех и учил, как жить. Есть «Песнь песней», про Суламифь. И есть книга

Экклезиаста, которую тоже Соломон написал. Но вот что с ним случилось между Суламифью и книгой Экклезиаста — темно и неясно, провал в биографии. Вот он царь, в силе и славе, а вот бродяга, который ходит и говорит: все суета сует. А что было в промежутке? Есть даже версия, что его изгнали. Но мне кажется, он сам ушел.

— *Еще бы, от семисот жен и трехсот наложниц... Поневоле подумает, что все суета.*

— Нет, я полагаю, там были более глубокие причины. Семьсот жен и триста наложниц — это не худшее, что может случиться с человеком.

— *Напоследок вспомним «Обедном гусаре» — фильм, показанный как раз на Новый год лет пятнадцать назад. Помните там Гафта, который в финале покидает город со своим полком? В первых кадрах он в этот город триумфально въезжал, игнорируя черную кошку, а в финале уже из-за кошки поворачивал. Пугался. Это было признание героя в том, что он сломался, — и, по-моему, ваше с Рязановым признание в бесконечной усталости...*

— Конечно, времечко-то было какое, да как эта картина проходила! «Свифт» на полке лежал... Мы задумывали фильм без всякой социальности. Рязанову явился кадр: гусарский полк вступает в уездный город N. Чисто изобразительное решение: все едут, впереди полковник, — он попросил меня что-то вокруг этого намудрить. Но я был человек социально ангажированный, мне хотелось воткнуть туда Третье отделение... Мы приносим заявку. Нас спрашивают: а вы в каких отношениях с Андроповым? Мы: а что? мы незнакомы... мы его знаем, а он нас, наверное, нет... Так вот, говорят

нам, все упоминания Третьего отделения — только с личного разрешения Андропова. А также изъять стихотворение «Прощай, немытая Россия»: пусть Леонов читает что-нибудь другое, например «Сижу за решеткой в темнице сырой». Все это нам не добавило оптимизма. И мы действительно признались в своей усталости: въезжали в эту картину бодрые, как Гафт в первой серии, а выехали грустные, как Гафт во второй.

— *Но в целом вы не выглядите сломленным писателем...*

— Так и он не выглядит сломленным полковником! Подумаешь, свернул из-за кошки...

2001

Даниил Гранин

Этот разговор с Граниным опубликован во времена гонений на Собчака. Может быть, поэтому здесь так мало о прозе и так много о политике, хотя как раз за гранинское умение заразительно и аппетитно описать работу я его люблю с детства. Он принадлежит к немногочисленной, но блестящей плеяде пишущих естественников и технократов — вспомните И. Грекову, Д. Сухарева, да и Б. Стругацкого. Гранин сух, точен, аналитичен, ироничен, сдержан — другой человек не потянул бы «Блокадную книгу» (совместно с Адамовичем, правда: у того уже был опыт бесед с людьми, пережившими невообразимое). Но именно Гранин на пике политических баталий 1990 года заговорил вдруг о милосердии — и эти слова оказались важнее всякой политики.

— Даниил Александрович, мы беседуем с вами на следующий день после того, как обвинение предъявлено Людмиле Нарусовой. Против нее возбуждено дело якобы за клевету: она утверждала, что следователи, «раскручивавшие» Собчака, подкуплены. У нас вообще что-то многовато клеветы в последнее время — органы, власть, мафия не в силах защитить свою репутацию делом и предпочитают отстаивать ее в судах...

— Я от вас первого слышу про обвинение Нарусовой. Полагаю, говорить о клевете тут неуместно — она защищает мужа, следствие против которого велось действительно сомнительными методами. И то, как она его защищает, само по себе вызывает уважение, хотя насколько ее обвинения обоснованны, я судить не берусь. А вот о том, что обвинения против Собчака дуты, я могу говорить почти с уверенностью. Что против него есть? Квартира племянницы? Судя по тому, сколько шума вокруг этой однокомнатной квартиры, она стала главным пунктом обвинения. И хотя я не сторонник таких критериев, но на фоне злоупотреблений центральной власти это просто, извините...

Я никогда не был дружен с Собчаком. Ничего от него не получал и ни о чем не просил, потому что в сочинительстве мне помощники не нужны, а все остальное у меня есть. Другие защитники Собчака — Стругацкий, Катерли, Кушнер — сделали себе литературное имя без его содействия и своих жилищных условий при нем не улучшали. Лично меня привлекало то, что он был первым в петербургской истории интеллигентным градоначальником. И первым с 1917 года государственным лицом, посещавшим Эрмитаж — не ради репортерского внимания, регулярно и по внутренней потребности. Провинциальный студент Ленин ни разу в Эрмитаже не был, хотя попасть туда в конце XIX века было даже проще, чем сейчас. Георгий Васильевич Романов, думаю, не будет отрицать, что тоже ни разу не сходил в Эрмитаж как посетитель...

— *Насколько я знаю, он вас терпеть не мог.*

— Это сильно сказано. Он полагал, что я возглавляю внутреннюю оппозицию в писательской среде, и потому существовало распоряжение не показывать меня по телевизору. Дай Бог, чтобы это осталось главной репрессией в моей жизни. Конечно, это на его фоне Собчак так нравился деятелям культуры, потому что Романов культуры не любил и вообще имел о ней приблизительное представление. Но он человек отнюдь не глупый, по-своему хозяйственный и кое-что толковое для города сделал. А это было нелегко при стойкой нелюбви к Питеру, которую питали все вожди от Ленина до Андропова. Корни этой нелюбви различны: Ленин ненавидел Петербург как столицу империи, куда прибыл молодым и бедным провинциалом, думаю, все здесь его давило. Сталин и остальные не могли простить городу некоторой культурной автономии. Питерский характер все-таки существует: когда живешь среди такой красоты, причем строго организованной, — поневоле лучше распознаешь тупость и хамство, меньше гнешься... За это нас и не любит никакая власть; ну, не больно-то и хотелось.

А Собчак был первый, для кого литература и живопись — не пустой звук. О нынешнем мэре тоже часто говорят, что он заботится о культуре. Справедливо, но это другая забота. Может быть, теперь пришло время для такой. Он ремонтирует ДК, помогает театрам, чинит мостовые... Культура? — культура.

— *Но представьте фантастическую ситуацию: Собчак здесь, в Петербурге. Его преследуют. Вы его спрячете у себя?*

— Если бы он согласился — без сомнения. Правда, тут почти негде прятать. Но ничего, нашел бы. По

трем причинам. Первое — я не верю в его виновность. Второе — симпатизирую ему. И третье — не чувствую себя способным вообще сдавать кого-либо властям. Я, Дима, не делаю из себя святого. Вам мало кто в таких вещах признается, а я признаюсь: когда Сталин умер, на Дворцовую сбежалась огромная толпа — от растерянности и ужаса всех потянуло в центр, — и я тоже там был, и тоже в ужасе. Мне понадобилось года полтора, чтобы все понять. Я хорошо понимал только две вещи: мерзость Жданова (я же воевал на нашем, Ленинградском фронте, а он из города туда не выехал ни разу) — и полную сфабрикованность ленинградского дела 1948 года. Я работал тогда в Ленэнерго, хорошо знал обстоятельства уничтожения всей ленинградской верхушки и уже знал, что такое страх.

— *Что, это было страшнее фронта?*

— Естественно, никакого сравнения! Это вообще самая загадочная эмоция — страх; иногда он гипнотизирует, парализует человека, иногда заставляет совершать непредставимые поступки, подлые или героические, я целую книжку недавно написал о собственном страхе... Так вот: я уже тогда понял, что сдавать, доносить, участвовать в проработочных кампаниях и компаниях — вне зависимости от того, как отношусь к жертве, — не буду никогда. Я не могу этого себе позволить. Собчак-то, я убежден, человек честный, — а хватит ли у меня сил выдать настоящего преступника или я его буду прятать? Не знаю.

Вообще, знаете, в шестидесятые я верил во всеислие науки. Я сам физик по образованию, мне казалось, что вожжи мировые оказались в XX веке в ру-

ках ученых. А это честные руки. Но в семидесятые я в этой среде сильно разочаровался. Написал две довольно резкие вещи — «Однофамилец» и «Дождь в чужом городе», — где расквитался с собственными иллюзиями. Меня спрашивают иногда: куда делись благородные фанатики науки, молодые волшебники, гении в ковбойках, — ну, условно говоря, персонажи «Иду на грозу»? Отвечаю: никуда не делись, просто наука оказалась не панацеей. Я понял это, когда началась травля Сахарова. Травили — коллеги. Свои. Знавшие его научные и человеческие заслуги лучше остальных. Получается, что никакая научная добросовестность — и даже одаренность — все-таки не гарантирует нравственности. Что это какая-то совсем другая епархия. Наука наукой, а совесть совестью.

— *Вы наверняка знаете, что ваш любимый Зубр — Тимофеев-Ресовский — был в старости глубоко религиозен.*

— Думаю, что и не только в старости.

— *Это как-то сочетается с наукой?*

— Скажем так: гипотеза Бога не противоречит тому, что знает о мире наука. Я не атеист, нет. Я завидую атеисту. Он не знает того страха, который знаю я, бьющийся над попытками понять — что все-таки там, после. При мысли о бессмертии меня охватывает ужас. Богоборцам проще.

— *Мне кажется, ваш призыв 1989 года — к милосердию, терпению и состраданию — все-таки был услышан. То были достаточно нетерпимые времена, все спешили размежевываться, а вы — с милосердием; и смотрите — все-таки «бессмысленный и беспощадный» не разразился. Может, это благодаря народной неискоренимой сострадательности?*

— Нет, это слишком лестное объяснение. Оно верно где-то на треть, я думаю. Да, есть природная наша незлобивость, но она очень часто вытеснялась совершенно звериной злобой. Так что главные причины, по которым не случилось бунта, — это усталость, страшная усталость... и отсутствие ощущения СВОЕЙ страны. Почему Дума не приняла до сих пор закона о собственности на землю? Потому что она коммунистическая? — о, если бы только это! Потому что народ на протяжении столетий не чувствовал себя собственником своей родины. Когда надо ради нее жертвовать собой — это ТВОЯ Родина, тебе это внушают на тысячу голосов, а когда ты просто живешь здесь в относительно мирное время — она чья угодно, но ни юридически, ни физически не твоя. Она вся в собственности ничтожной кучки избранных. И в силу этого, как ни покажутся вам несоотносимыми причина и следствие, два общественных сортира, расположенных симметрично относительно русско-финской границы, производят такое диаметрально противоположное впечатление. Приграничный сортир в Финляндии очень мил. Приграничный сортир в России таков, что гостей в него не пускают — дают ключик от уборной в бывшем горкоме КПСС.

Я всегда был оптимистом. И в исторической жизни, и в частной. В сентябре этого года я с облегчением и даже каким-то сладострастием влился в ряды пессимистов. Потому что, во-первых, устал уговаривать себя, а во-вторых — перестану наконец разочаровываться. У меня сейчас стойкое ощущение выжженной земли. За последние десять лет плодоносный слой в России выгорел: тут и гибель

иллюзий, и войны, и преступления, и отъезд самых талантливых, и разорение самых честных, и какое-то полное отсутствие идеологии, потому что скомпрометировано все. Так что здесь еще долго ничего не вырастет — так мне кажется.

— *Зато в отсутствие идеологии может вырасти нечто куда более страшное — фашизм хозяйственников, блатная диктатура...*

— Ну нет. При всем своем новообретенном пессимизме я такого варианта не допускаю. Фашизма без идеологии не бывает, а никакого диктата Россия породить не способна. Ни породить, ни выдержать. Именно в силу этой выжженности и усталости. Будут попытки, естественно, — как без этого? Но история обратного хода не имеет, я говорил это в 1985 году и сейчас скажу. Ни одна реставрация в чистом виде не продержалась сколько-нибудь долго.

— *А с каким чувством вы вспоминаете середину восьмидесятых?*

— Единственный период, вызывающий у меня ностальгию. Но и горечь изрядную, конечно. Вот тут было ощущение совсем противоположное нынешнему — избыток горючего, мощный плодородный слой... Но я и сейчас не знал бы, как со всем этим запасом энергетики распорядиться. Можно сказать, что он изработался вхолостую. Как будто у огромной машины полный бак топлива, а куда ехать — неизвестно; спасибо, хоть не взорвалась. А сейчас — пустыня.

— *В некоторых ваших вещах — в моем любимом «Месте для памятника», например, — ошутим некоторый трепет перед будущим, боязнь его. Это осталось?*

— Нет, я никогда не боялся будущего (в «Месте для памятника» его боится герой, чиновник) — но сейчас оно вызывает у меня некоторую тоску и почти сострадание. Мы вплываем в очень пресный и плоский мир, кажется. Мир без вертикали. Это основано на моих наблюдениях над Интернетом.

— *Но пишете вы по-прежнему от руки?*

— Да, компьютер есть, но писать надо рукой. Я это особенно остро почувствовал в Михайловском, когда Гейченко научил меня писать гусиным пером. Это совсем другой процесс, со своей метафизикой: пока окунаешь перо, успеваешь выбросить лишние слова из готовой фразы. По нажиму, оказывается, можно судить о собственном состоянии: вот здесь самому нравилось, нажим сильный, резкий, а здесь водил пером еле-еле, без всякого удовольствия.

— *Даже по «Однофамильцу» или «Дождю в чужом городе» невозможно понять, как вы относитесь к конформистам. То сочувствуете, то наоборот.*

— Слава Богу, если невозможно. Как настоящий ученый, настоящий писатель должен дописываться до тайны. Достоевский дописался до Раскольникова: вы можете сказать, как он к нему относится?

— *Затрудняюсь.*

— То-то. И Наташа для Толстого тайна. Я себя в этот ряд не ставлю, но конформизм — в самом деле загадочное явление, однозначных оценок оно не терпит. Герой «Однофамильца» полагает, что иногда приноравливаться к обстоятельствам — подвиг, почти жертва. Можно понять такую точку зрения? Можно. И вместе с тем в экстремальных обстоятельствах, на фоне эпохи или собственной судьбы, — можете вы опереться на конформиста? Едва

ли, хотя он в повседневной жизни гораздо приятнее борца... Лично мне всегда был симпатичен другой герой. Волевой. Я сейчас заканчиваю роман о Петре Великом — книгу полудокументальную. Кстати, мне кажется, я раскопал главную любовь его жизни — позднюю, уже незадолго до смерти...

— *Кого?*

— Прочитаете. Правда, меня кризис недели на две выбил из колеи, я постыдно долго ничего не писал. Сейчас отругал себя за малодушие и опять работаю.

— *Но Петр — человек редкой жестокости. И толку от его реформ было мало — после смерти все разъехалося...*

— Ой ли? А Петербург тоже в болото ушел? А бороды опять носить стали? А европейские костюмы и новый календарь тоже истребили? Что до жестокости — страна была такая. Только «уздой железной». Петр — единственный гений за всю историю русской государственности. Нам в России страшно не хватает волевого начала. Страшно.

— *Тогда вам Иван Грозный должен нравиться.*

— Иван — садист, его деятельность осложнена патологией. О сталинской в этом смысле и не говорю. А Петр — это единственный пример четкой позитивной идеологии и соответствующей по масштабу государственной воли.

— *Рациональный вы человек. Вам это не мешает?*

— Всю жизнь мешает, я завидую иррациональности... Может быть, поэтому всегда хочется подсунуть герою — тоже рационалисту — женщину, иногда простую совершенно бабу, чтобы только она выбила его из этой колеи и заставила как-то шире взглянуть

на мир. В «Картине», в «Дожде»... Но, вообще, в наших условиях рациональность неплоха. Брехт же не устаревает? Здравый смысл обременителен в частной жизни, иногда в литературе — меньше каких-то порывов, прорывов, безумств... но он позволяет сохранить лицо, способствует порядочности и не допускает до постыдной энтропии.

— *Из ученых получают писатели вполне определенного типа — Грекова, например, или Лидия Гинзбург... Но в чем ваша общая особенность — я все-таки не сформулирую.*

— Да, Грекова чудесна — ей сейчас за девяносто, но она сохраняет ясность ума и обаяние. Трудно сказать, что нас таких объединяет, изменивших серьезным занятиям... Я думаю, наука не существует без любопытства. Мы ставим себе некую исследовательскую задачу и с наслаждением в нее погружаемся. Поэтому нас иногда интересно читать.

Борис Гребенщиков

В первый момент — не верю. Да, пусть нынче хороший тон — цедить скептически: «То, что он сейчас делает, мне не нравится». Но ведь это не он, а мы изменились, и армия поклонников его не убывает, несмотря ни на что, а имя по-прежнему служит паролем. Он в свои тридцать пять — кумир, легенда, и значение его группы для нас сопоставимо, пожалуй, с местом «Битлз» в мировом роке. Люди, попадая на его концерты, проявляют чудеса изобретательности, а тут — на тебе, стоит передо мной, улыбающийся, бородатый, в очках, тельняшке, трепа-ных трениках («насчет тельняшки — не подумайте, что я митёк, просто я сейчас рисую»). Худой, узкий, высокий. Черт его знает, может, и двойник? Держит его для прессы, а сам скрывается?

— Да, Борис Борисович... Я гляжу, этот подъезд вам еще не успели расписать?

«Да, братки дорогие, уж беднее Гребешка — никого нет. Семья: за молоком сбегай, ведро помойное вынеси... А попробуй через поклонников продерись с этим помойным ведром! Ведь никто не предложит: Борис, я очень люблю твою музыку, поэтому давай я тебе

вынесу помойное ведро. Куда там! На тебе, скажут, стакан, пей со мной, а я всем похвастаюсь: нажрался с Гребенщиковым. Вот подходит он к двери с помойным ведром, слушает: тихо. Быстро шмыгает в дверь и только ступает на лестницу, как сзади его хватают за горло. Помойное ведро высыпается, он падает, елозит ногами в помоях, не успевает рот раскрыть, чтобы вскрикнуть, — а ему ножом зубы разжимают и вливают туда стакан самогона... Лежит Боря, задыхается, полуослепший, разбившийся, — и поклонники зубоскалят, спускаются по лестнице довольные; выпили все-таки с Гребенщиковым!» (В.Шинкарев, из «Митьков».)

— В этом митьковском мифе почти все правда. На улице Перовской, на лестнице, просто жили человек десять, которые на самом деле ничего не понимали в наших песнях. Популярность — это стук в дверь каждые пять минут и полная невозможность нормально работать.

— *Прессу вы, по слухам, не жалуете.*

— Ненавижу. Я надеюсь, хоть «Собеседник» — желтая пресса?

— *Как вам сказать... Цветная.*

— Ну, отлично.

— *Прежде всего скажите точно: вопреки публикации в «За рубежом» — «Аквариум» не распадается?*

— Насчет этой публикации — запишите дословно: я люблю небольшие скандальчики такие, я счастлив, что у нас в полный рост появилась настоящая желтая пресса. Статья «Распад в зените славы» напе-

чатана без нашего и даже авторского согласия, и по ней вполне ясно, что автор никогда «Аквариума» толком не слышал: нет ни одной верной цитаты. Эта девочка действительно давно с нами знакома, но вряд ли когда-то понимала, что мы делаем. Если мы способствовали таким образом ее карьере, я очень рад. Но распадаться мы не собираемся. То, что мы играем сейчас, мне кажется, гораздо интереснее. Готовятся два альбома, один из них — к Новому году, но название и состав их — пока секрет даже для нас самих.

— *Гора с плеч. Мы беседуем в преддверии девяностых. А как вы встречали восьмидесятые?*

— О, довольно странным образом. Наш знакомый остался один в пустом выселенном доме на Гончарной. Мы поставили туда всю свою звуковую аппаратуру, получилось довольно громко. Недели три там происходило что-то, поражающее воображение. Милиция, не в силах найти источник звука, сбивалась с ног. Тогда многое было намечено и многое было предсказано. Один наш друг произнес пророчество: настают ревушие восьмидесятые. Это, в общем, сбылось. Видите, что делается...

— *И вам это нравится?*

— Очень. Жить и работать сейчас замечательно. Кто-то из дзенских патриархов сказал, что у человека не должно быть ни пола под ногами, ни крыши над головой. Я не скажу, что это оптимальное состояние для жизни, но для работы оно мне необходимо.

— *Но ведь это жизнь без основы?*

— Почему же? Основа не может находиться вне человека, она внутри. Вот жить без Бога действительно нельзя, только к нему все приходят по-своему. Я, например, пришел через рок-н-ролл.

— *Ваша религия, наверное, непривычна?*

— Я просто понимаю Библию как некий свод духовных основ, где для меня ясны, может быть, полпроцента. Но мне хватает. Понимание Библии как сказки о загробной жизни — не просто догматизм, а идиотизм. Мне лично она видится как духовная история каждого человека: любой переживает свой апокалипсис, свое возрождение... «Собирайте плоды не с земли, но с неба» — это не значит, что где-то ТАМ воздается. По-моему, воскреснет душа — хорошо, не воскреснет — что ж, мы этого знать не можем. Просто надо здесь, сейчас делать все, что можешь. Обстоятельства — не оправдание. Представьте себе Гомера, который отказался сочинять «Илиаду» из-за того, что ему квартиру в Афинах не дают и приходится быть странствующим певцом... Надеяться на чудеса нельзя, надо умудриться в этой жизни жить по-человечески. Любить человека абстрактно — очень легко, а вы попробуйте конкретно, в мелочах.

— *И вам не трудно любить людей — таких?*

— Трудно, но это самый большой кайф, который возможен. Искусство и это.

— *Есть теория, по которой, напротив, художник — всегда эгоист, замкнут на себе.*

— Ну да... но это очень узкий взгляд. В каждом художнике, кроме творческого человека, живет еще

нормальный. А в том, что люди по природе своей — светлое и благое начало, я убежден абсолютно. Даже после всего, что было и есть. Человек рожден, чтобы примирить главное противоречие природы: с одной стороны, гармония, красота, с другой — под этой оболочкой — иерархия поедания. У Заболоцкого, которого я по-настоящему прочел только года 3-4 назад, есть строчки: «Жук ел траву, жука клевала птица...»

— *«Хорек пил мозг из птичьей головы...»*

— Да. А человек — первое существо, которое может существовать не за счет поедания кого-то. Это есть и у апостола Павла, в послании к римлянам: «Ибо тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих» (Римл. 8:19). Надо соответствовать этому назначению, это в нас заложено. Вот и основа.

— *Получается новая «теория малых дел»?*

— Знаете, мы уже столько больших натворили... А 72 года назад такое большое дело сделали... Знаете, главное, что нужно сейчас делать? Посмотрите, в каких условиях у нас дети рождаются и воспитываются. Эти роддома, эти больницы, в которые не кладут, пока коридор не вымоешь; эти сады, ясли. Если сейчас у нас изменить отношение к детям, мы через 20-30 лет будем жить в совершенно другой стране. Надо начать с этого. Россия ведь тоже не нуждается в абстрактной любви. Мне представляется, что Россия, в упрощенной модели, избрана Богом как экспериментальный полигон. Это самая прочная страна. Никакая другая просто всего этого не выдержала бы.

— *Бисмарк говорил: социализм в отдельно взятой стране построить можно, надо только найти страну, которую не жалко.*

— Д-да, канцлер был по-своему прав. Я в одной из новых песен пишу: в России «достаточно бросить спичку, и огня будет не унять». Так же, кстати, у нас было и с рок-н-роллом. Он взрывался у нас, как некая бомба постепенного действия. То, что мы делаем, нужно всему миру, но нигде, кроме России, я не встречал людей, для которых то, о чем мы поем, было бы важнее всего на свете.

— *А в Штатах?*

— Штаты сильно разочаровали меня. Прежде всего непрофессионализмом. Для меня профессионализм — умение получать кайф от того, что ты делаешь. Ведь по сравнению с работой на всех ее этапах — от первых нот до аранжировки — любой другой кайф просто ерунда, будь то водка или, как теперь говорят, «снятие баб». Штаты — страна предельно коммерциализированной культуры, страна без своего пути, очень приземленная. Но там забавно.

— *Там, вероятно, ожидали увидеть русского медведя, а увидели вполне цивилизованного англоязычного музыканта...*

— Да никого они там не ожидали увидеть, я там почти никому не был нужен, хотя со многими людьми общался с большим удовольствием. Я ехал поработать в нормальной студии с нормальными профессионалами, и это мне удалось. Пластинка расходилась очень средне, могла и хуже, там никто обо мне не знает по-настоящему, я и рассчитывал

на это. Мне было довольно того, что меня туда выпустили.

— *Зато там много колбасы...*

— Колбасы действительно много, но я мяса уже полтора года не ем.

— *Вы бы хотели родиться в другое время и в другом месте?*

— Никогда в жизни. Я могу работать только здесь, хотя деловые, профессиональные поездки туда дают очень много. Моя музыка после поездки стала интереснее.

«Гребень как из Штатов приезжает, так неделю лежит пластом, а потом неделю пьет, в себя прийти не может. Адаптируется, значит, к советскому образу жизни. Ах, как там хорошо, говорит, вы не поверите, как там хорошо...» (Слухи-89.)

— Когда я там, в Штатах, следил по газетам и телевизору за событиями здесь, я думал: все, гражданская война, на улицу страшно выйти, одна мафия в другую стреляет. А когда приехал, оказалось, существует все это, и существует ночной Ленинград под луной, и он никуда не исчез. Просто можно воспринимать свое время, свою страну как нечто Богом данное, а можно — как арену политической, денежной или другой тусовки. Я выбрал первое.

— *Ленинград не изменился?*

— Он не изменился с тех пор, как построен. Это город на костях, что не может не ощущаться, и, во-вторых, у нас масса захоронений радиоактив-

ной земли, Невзоров называл цифру — больше 1300 микрорентген. Для меня Петербург — необычайно мощная мистическая единица, город, где все этим пронизано и все возможно.

— *А что вы — ленинградец — думаете о гидасповском и антигидасповском митингах?*

— Знаете, я не очень хорошо себе представляю, кто такой Гидаспов. Меня все это мало интересует. Нам иногда навязывают имидж борцов против застоя. Вообще любой имидж нужен только для того, чтобы разрушать его с его же помощью. Так вот, мы никогда ни с кем не боролись. «Аквариум» — это группа людей, объединенных воплощением определенной духовной цели в искусстве и в жизни. Нам никто не может помешать играть нашу музыку. Почему-то, когда я на работу и на концерты ездил в одних и тех же штанах, считалось, что я боролся, а как начал ездить в разных — считается, что продался. Изменились не мы, а государство. Мы ни к кому не принаравливались и ни с кем не сражались, ибо кайфа в этом нет. Я вообще противник всякого насилия. Насилие, как сказал кто-то из древних, — последнее прибежище некомпетентности. Ориентир «Аквариума» — это книга Толкиена «Хоббит» и трилогия «Повелитель колец»: там как раз о том, как героические дела совершаются совершенно негероическими людьми. Другой наш ориентир — это «Битлз» второй половины 60-х, люди, делавшие только то, что они хотели и во что верили. Этим и надо заниматься, а не борьбой.

— *Позиция довольно инфантильная.*

— Так и отлично! Скажите, кто не инфантилен? «Будьте как дети и войдете в Царствие Небесное!» — я не хочу выглядеть ортодоксом, просто в Библии многое верно сказано.

А что касается детства — я не чувствую в себе никаких перемен с 12-14 лет. То есть какие-то сдвиги есть, но не принципиальные. Я до сих пор воспринимаю очень взрослым любого, кому 25.

— *Что же вы ждете от наступающих девяностых?*

— Сейчас... Можно у вас «Стрелку» стрелнуть, а то у меня «Беломор» кончился?

— *А можно я у вас «Салем» стрелну?*

— Конечно, пожалуйста. Так вот, будущее — закрытая для меня сфера. Я никогда прогнозов не делаю. Если в песнях что-то вдруг сбывается — иногда буквально — меня это пугает, это происходит независимо от меня. А заниматься пророчествами я не люблю и не умею. Но мне кажется, что после ревуших восьмидесятых настанут деревенские (или долгопятые) девяностые. Мы прочно входим в фазу деревенского отношения к жизни, где весь мир предстанет глобальной деревней с ощущением тихого праздника. Человек ощутит себя частью традиции. Это будет время спокойного занятия своим делом. Ноль тусовки. Тусовка хороша для общения, но для работы, творчества — губительна. В девяностые не будет прыгания туда-сюда, поездки на другой конец земли будут не увеселительные, а рабочие, вообще меньше будет чада, шума... Мне кажется, это будет очень хорошее и плодотворное время.

— *Я хотел бы надеяться вместе с вами. А теперь... Правда ли, что в «Аквариуме» распространена наркомания?*

— Неправда. Во-первых, хороших наркотиков здесь не достанешь, а во-вторых, это превращает в овощ. Лишает возможности работать. А кайф от работы — будь то живопись, песни, концерты — значительно сильнее. Пить — это да, раньше мы пили больше, сейчас меньше.

— *Что за объединение «Братки», которое возглавите вы и «Аквариум»?*

— Это полнейшая ересь, никаких «Братков» я не знаю, мы существуем всегда сами по себе. Нас из рок-клуба и то много раз выгоняли.

— *Вы окончили университет?*

— Да, по специальности «прикладная математика». Но я никогда ничего в компьютерах не понимал. Отец мой — инженер, мать — юрист, потом модельер, сейчас социолог. Наши песни ей нравятся.

— *Вы работали когда-то на сборе цитрусовых?*

— Никогда. Самая экзотическая моя профессия была ходить по лесу под Ленинградом. Я работал с экспедицией, отмечал краской какие-то деревья...

— *Что вы думаете о последних фильмах С.Соловьева?*

— Я люблю его и верю ему. Хотя и к «Ассе», и к «Розам» отношусь двойственно. «Розы» люблю больше. Там очень чистый герой...

— *И несимпатичный.*

— Да, но добро часто несимпатично... Там есть и фарс, и китч — то ли чтобы до всех дошло, то ли

просто ему так надо, но интуиция Соловьеву, по моему, не изменяет. Мы и третий фильм сейчас начали делать — «Дом под звездным небом». Это будет очень страшная вещь, я прочел сценарий и разреvelся...

— *А как вы относитесь к танцам на портрете Брежнева на премьере «Ассы»?*

— Это что, было?! Ну, это типичные московские пережимы... Танцевать на чьем-то лице нельзя ни при каких обстоятельствах.

— *Когда выйдет ваша новая пластинка?*

— На ней будут песни из «Роз», а еще, благо была студия, мы записали несколько вещей последних лет, в том числе и «Поезд в огне». Фирма «Мелодия» настолько непрофессиональна, что не умеет сама себе деньги сделать, и когда выйдет диск — неизвестно. Готов он уже довольно давно.

— *Вы скоро — опять в Штаты?*

— В Штаты я теперь долго не поеду. Весной ненадолго, может быть, в Англию, а так все время здесь.

— *Для какой аудитории вы играете?*

— Священник, выходя к людям, об аудитории не думает — он просто таким образом служит Богу. Вот и «Аквариум» — мы никого не хотим обращать в свою веру, а просто играем для тех, кто нас слушает.

— *Какие группы вы любите? Что читаете?*

— Слушаю Тома Петти, американскую группу «Трэвеллинг вилбуриз», где играют в числе прочих Дилан и Харрисон... Из советских групп я люблю

«Наутилус Помпилиус». Они мне очень интересны, хоть это и более жесткая группа, чем мы. Читаю я... Сейчас посмотрю на полку. Вижу много книг по магии, Книгу перемен, китайских классиков, есть книги по православию. Художественной литературы я почти не читаю.

— *Вы семь лет назад провозгласили: «Рок-н-ролл мертв...»*

— Свою функцию он выполнил. Он уничтожил барьер между культурой и цивилизацией, он снова сделал культуру модной. В Штатах даже считают, что культура началась с 30-х годов, а все, что было раньше, не то...

— *А вы?*

— Нет, я ощущаю себя в контексте предыдущих десяти тысяч лет человеческой истории.

— *Как долго вы еще собираетесь играть?*

— Пока это будет доставлять нам счастье. Как сейчас.

От него выходишь, веря ему во всем, и презрительно пропускаешь мимо ушей разговоры о том, что, мол, «косит» он под пророка и все это поза. Сейчас думаю: как же это — так жить в нашем мире? Не станет ли БГ похож на собственного героя, мальчика Евграфа, который был сторонником гуманных идей и не знал, что в мире есть столько ужасно одетых людей? Как улыбаться и благодарить в ЭТОМ транспорте, в ЭТОМ безумии? Как в ЭТО время песни писать?

И тут понимаю: а ведь хватит только о колбасе. Хватит только о Сталине. Хватит только о том, что на каждом шагу. От этого легче не станет. Пора — о другом, что

никогда не меняется и никуда не девается. «Время Луны». «Под небом голубым».

Я мало о чем так мечтаю, как о том, чтобы десять лет спустя были живы мы все. И все, что нам дорого. И чтобы я, тогда тридцатидвухлетний, нашел БГ в неизменном Ленинграде и застал его в тельняшке рисующим картину.

— Что, БГ, — спрошу я его, — вот и позади деревенские девяностые. Все так и было. А теперь?

1989

Георгий Данелия

Данелия — странный режиссер. В кинематографе любой державы он был бы звездой первой величины — и по количеству, и по качеству сделанного. В нашем же, перечисляя гениев и мэтров, о нем вспоминают не сразу, во вторую очередь, с неприменной доброй улыбкой, от которой ему, я думаю, не легче.

Но у странного режиссера есть странный зритель, который каждого его нового фильма ждет как откровения. Это как бы новое сообщение из собственного внутреннего мира — с которым, согласитесь, мы не так часто и контактируем. Чего лишнего раз огорчаться? Он живет себе где-то в глубине, под десятую защитными слоями и почти не соприкасается с нашей повседневностью. Потом Данелия снимает очередную картину — и мы видим, как изменился пейзаж внутри.

— Существовала такая категория — «наши комедиографы». Нас было трое в этой упряжке: Гайдай, Рязанов и ваш покорный. Так и говорили во время съездов Союза или на встречах с иностранцами: вот настоящие режиссеры, а вот (с ненавистью) «наши комедиографы». Сбоку процесса и вне критериев.

— *Нет, вы не комедиограф, конечно. Вы... не знаю кто, честно говоря.*

— Я сказочник, нормальный сказочник, всю жизнь снимаю то, чего не бывает, но чтобы оно выглядело достоверно. С минимальным допущением.

— *А «Афоня»?*

— И «Афоня» — сказка, ну где же видано, чтобы такой, как он, женился на такой, как Женя Симонова? Другое дело, что я в этих сказках не вру. То есть когда мы говорим «сказка», мы как бы автоматически допускаем момент произвола, выдумки. Меня можно упрекнуть в чем угодно — время, положим, не так я выразил или там герои мои кому-то не нравятся, — но за одно я отвечаю головой и репутацией: никогда мой персонаж не пойдет против собственной логики. Я ведь никогда не снимаю «про что». Спросите меня, про что любая картина, — я честно, без всякого кокетства затруднюсь ответить. Я снимаю «про кого». Берется персонаж, за ним долго наблюдается, и он сам начинает порождать ситуации, из которых в результате лепится сюжет. Иногда получается сказка веселая, вроде «Мимино». Иногда сказка с темной аурой, вроде «Слезы капали», — я тогда переживал черное время.

— *В связи с советской властью?*

— В связи с моими личными обстоятельствами, в которых не было просвета, хотя и советская власть не одобряла мне оптимизма... «Слезы», кстати, коллеги считают лучшей моей картиной в смысле профессии. Я не назвал бы ее любимой, но там действительно были хорошие придумки — как сделать страшную сказку минимальными средствами. Например, пустить флейту за кадром, страшнова-

тый вот этот голосок, напевающий «чикита-ча»... Потом опять-таки трамвай идет, а звука не слышно. Ну страшно же?

— *И вообще страшно, когда трамвай по пустому полю идет. Как вы его умудрились там пустить?*

— Совершенно реальный трамвай, снятый в Одессе.

— *Но сами-то вы что больше всего любите?*

— Если смотреть объективно, ближе всего к тому, что я хотел, получилось «Не горюй» — первая большая роль Кикабидзе и первая наша общая работа. В сотню лучших фильмов века, по критическим опросам, я попал именно с этим фильмом и не жалею. Это адаптированная к Грузии экранизация хорошего французского романа «Мой дядя Бенжамен», и когда картина приехала на фестиваль, выяснилось, что там же присутствует в конкурсе еще одна версия той же книги, французская. И тоже шансонье в главной роли, небезызвестный Жак Брель. Я в порыве профессиональной солидарности кинулся в гостиницу, где жил режиссер, и попросил передать ему банку икры и бутылку водки — в качестве, так сказать, братского приветствия. И пошел смотреть. Посмотрел десять минут и побежал забирать икру с водкой — настолько мне это показалось ерундой... Справедливости ради заметим, что мы на том фестивале получили приз, а французы — ничего.

— *Но вообще, мне кажется, вам на фестивалях не очень везло...*

— Это вам совершенно напрасно кажется. Мне на фестивалях везло, кажется, больше, чем всем остальным. Девяносто с чем-то призов у меня, на-

чиная с победы «Сережи» в Карловых Варах. Ни одной картины не было, чтоб чего-нибудь не дали. Но не в том дело. Мне нравится, что каждый любит свое, что один говорит — вам удалось вот это, а другой — да ну, гораздо лучше вон то... Ваше поколение больше всего любит «Кин-дза-дза».

— *Совершенно верно. Я вообще тогда удивился, как у вас хватило пороку придумать такой странный мир...*

— Ну, я не один его придумывал, там много постарался Габриадзе, — но по большому счету ничего особенно изобретать не пришлось. «Эцилоп», которому все обязаны «ку» делать, — просто «полицай» задом наперед. «Пепелац», в котором они летают, — по-грузински бабочка, «чатланин» происходит от широко распространенного на всем Востоке ругательства, а «пацак» — контаминация всеми любимых слов «кацап» и «поц»...

Вот. А женатые мужчины за тридцать больше всего любят, естественно, «Осенний марафон».

— *Вам, вероятно, часто задавали вопрос — как выходить из ситуации «Марафона»?*

— Знаете, меня иностранцы совершенно достали этим вопросом, и я всем с полным основанием отвечал: если бы я придумал выход из этой ситуации, картине следовало бы давать не «Льва» на венецианском фестивале, а Нобелевскую премию. Сколько мир стоит и стоять будет, столько люди мучились и будут мучиться этой коллизией: жена, любовница, остаться нельзя, уйти жалко. Но с годами я приблизился к разгадке и из личного опыта могу вывести одно: если не можешь выбрать между двумя, ситу-

ацию разрешает третья. Других вариантов пока не придумано.

— *То есть сами вы именно так и вышли?*

— Так вышло, уточнил бы я.

— *Вообще в семидесятые годы часто появлялся персонаж типа Бузыкина — безвольный мужчина, который вдруг решил разрубить все узлы...*

— Нет, в том и ужас, что он никаких узлов не рубит. Его решимости хватает — пнуть коробку с кирпичом, через полчаса все начнется заново. Да, такой тип был и есть. В некотором смысле всю жизнь снимаешь про себя, ну и это я снял про себя, в большей, может быть, мере, чем все остальные фильмы... Хотя, конечно, будучи полным Бузыкиным, я бы ни одной картины не снял. Это занятие не для такого киселя. Но иногда мне не хватает силы отказать человеку, и тогда я и себя насилую, и ему в итоге не делаю никакого добра. Просто потому, что невозможно сделать добро против собственной воли, с раздражением и неохотой. Я поэтому так мало верю в насилие над собой: и себе все поломаешь, и не поможешь никому.

— *Не хочу лезть в вашу личную жизнь...*

— А вас туда никто и не пустит. Я в свое время страшно устал от этих выворачиваний меня наизнанку. Ну говорили же про кино, все нормально было...

— *Тем не менее: насколько я слышал, ваши влюбленности обычно были взаимны?*

— Да, иногда даже избыточно. Приходилось как-то еще уворачиваться иногда — чаще меня любили, чем я любил... Впрочем, я не в претензии.

— *И какой тип женщины на вас действует неотразимее всего?*

— Да трудно сказать, потому что если женщина берет чем-то — так уж она берет, и тут не рассуждаешь. Могу заметить только, что преобладали блондинки. В детстве мой идеал была Дина Дурбин, впоследствии я ей изменил с Вивиен Ли...

— *Вот уж стерва!*

— Да нет, вы судите по Скарлетт, а я — по «Мосту Ватерлоо», который был тогда любимая моя — и не только моя — иностранная картина. К несчастью, ничего похожего на Вивиен Ли мне в жизни не встретилось, так что дальше пришлось исходить из реальности.

— *Вы московский грузин, и тем не менее: что случилось с грузинским национальным характером в последние десять лет, что они из катастрофы своей вылезти не могут?*

— Да с характером, собственно, ничего не случилось. Я не знаю, в какой степени компетентен об этом говорить, я действительно московский грузин и проводил в Грузии только лето, мы с матерью ездили к родне. Ну, в самых общих чертах там произошло вот что: Тбилиси — это не вся Грузия, как и Москва — не очень Россия. Тбилиси там не больно-то жалуют, особенно крестьяне из дальних деревень, которые и по-русски толком не знали. Что такое была для них Россия? — так, войска стоят и больше ничего... А для тбилисской интеллигенции Россия была — все, интеллигенция вынужденно была завязана на Москву, потому что сама по себе Грузия никогда не позволила бы себе содержать Академию наук, киностудию, три крупнейших те-

атра... Победа Гамсахурдиа была, в сущности, бунтом провинции против столицы. Его радикализм, его антирусскую риторику поддержали в основном люди малообразованные — интеллигенция его, надо сказать, в массе своей ненавидела. И оказалась подавлена, как подавлена она сейчас везде. В том числе и здесь. Это, может быть, расплата за легкомыслие, а может быть, какой-то рок. Но то, что в Грузии победил провинциализм, не прибавило ей очарования, конечно.

— *Но какие-то черты грузинского характера, грузинской физиологии даже — вы в себе чувствуете? Физическая выносливость, устойчивость к вину, легендарная трудоспособность...*

— Ну, насчет устойчивости к вину я не проверял, потому что пил всю жизнь исключительно водку и оказался к ней настолько устойчив, что сейчас отказался от нее совершенно. Капли в рот не беру. Выносливость — вещь относительная, я в мои нынешние годы (69) легко провожу на площадке 12 часов, а было время, когда на сдаче фильма не спал по трое суток, и ничего. Что касается легендарной грузинской трудоспособности, то легендарно трудоспособного грузина я в своей жизни знаю одного, и это Зураб Церетели.

— *Лучше бы он ленился, честное слово...*

— Нет, вы так не говорите, потому что он мой друг. Работы его можете судить как хотите, но я его как человека люблю. Знаете почему? Он никого не забывает, кто с просьбой к нему обратится. О каком бы пустяке речь ни шла — будет звонить, просить, улаживать... Жизнь его состоит из решения чужих проблем. Я его помню еще по Тбилиси, где мы по-

знакомились давно, в семидесятые. Он там жил в том же ритме, что и здесь: каждый вечер застолье, толпа гостей, а утром он как ни в чем не бывало в мастерской. Я однажды специально проверил: в четыре утра от него ушел, а в половине седьмого позвонил. Он уже работал.

— *А говорят, он с мафией связан...*

— А кто не связан с мафией в последние десять лет?

— *Хорошо, переформулируем: вы — связаны?*

— Дайте подумать... Нет вроде. Но я убежден: если наедут, у меня найдутся заступники.

— *Меня, кстати, всегда удивляло: откуда у вас такое знание воровской среды в «Джентльменах удачи»? Сценарий ведь вы писали с Токаревой, так что все эти «редиски», «насть порву», «бензин ослиной мочой разбавлял» — ваши приколы... Или художника действительно тянет к вору?*

— Да нет, у меня таких друзей не было, но я просто вырос в Москве, в Уланском переулке, после войны.

— *А что, культурное место, «Литературная газета»...*

— Хо! Это был опаснейший район, да еще в непосредственной близости к трем вокзалам, — весь центр был полон блатными! Я проследил потом судьбы мальчиков из своего класса (мои школьные годы пришлись еще на раздельное обучение): две трети умерли в тюрьме или лагерях, и не только потому, что денег не было и приходилось воровать, а потому, что вор был главным героем того времени. Слова «бандит» тогда не было. Говорили — вор.

И он, наряду с фронтовиком, принадлежал к сливкам общества.

— *А иногда это совпадало — вор-фронтовик...*

— Ну, это были вообще короли — те, кого послали в штрафной батальон. Тогда это многим предлагали, и многие шли. Когда такой человек возвращался героем, естественно, он становился легендой двора. Я не хочу сказать, что участвовал в каких-то шайках, но тихим домашним мальчиком я тоже не был, у нас была своя компания, и все полагающиеся слова и обычаи я знал прилично.

— *Интересно, Токарева верно описывает историю «Джентльменов удачи»?*

— А я и не читал. Что она пишет?

— *Пишет, что вы написали сценарий для друга, Александра Серого, который только что вышел из тюрьмы и не мог получить постановку. А в тюрьме он оказался потому, что вступился, кажется, за женскую честь... И будто чуть не весь фильм вы за него сняли.*

— Ну, близко к тексту, хотя не совсем так. Серого я знал по режиссерским курсам, он был там слушателем, потом приревновал женщину, подрался за нее и ударил противника молотком по голове. Ему дали восемь лет — не убил, но нанес тяжкие телесные повреждения. Он отсидел четыре и вышел досрочно, надо было как-то помочь, а у него работы никакой, постановки до этого ни одной... Тогда мы написали «Джентльменов», и я головой отвечал за успех, так что был назначен художественным руководителем постановки. Серый заболел к концу работы, так что я пару сцен снял и кое-что смонтировал. Как ни странно, фильм этот прошел без

сучка, без задоринки и без единой поправки. Что, в общем, и объяснимо, потому что он ужасно смешной. Сам признаю. А Щелоков, тогдашний министр внутренних дел, вообще хохотал. Это была его любимая картина.

— *Как же вы не отговорили Крамарова, когда он уезжал? Ведь он у вас лучшую роль сыграл, почти трагическую. А когда уехал, так ничего там приличного и не сыграл...*

— Да, у нас прекрасные были отношения, он даже называл меня учителем — но все контакты ограничивались площадкой. О его отъезде я узнал задним числом. Но если бы даже знал — отговаривать не стал бы, потому что отговаривать бесполезно в принципе, каждый живет свою жизнь. Зато когда он ненадолго потом приехал, я его снял в «Насте» в той же дамской шубе, что и в «Джентльменах».

— *У вас вообще, мне кажется, привычка цитировать себя — ставить клеймо своего рода...*

— Нет, это в основном касается постоянных актеров — моим талисманом был Евгений Леонов — и единственной постоянной цитаты. Это песня «На речке, на речке, на том бережочке мыла Марусенька белые ноги». Как-то так повелось с фильма «Тридцать три», что я Леонова всегда снимал с этой песенкой, это не столько клеймо — сделал, мол, я, — сколько примета. Ну и привет постоянному зрителю, если угодно. Я только в «Совсем пропащего» не смог это вставить — все-таки в экранизации «Геккльберри Финна» некому было петь про Марусеньку...

— *Я знаю, что ваша первая короткометражка была по Толстому — «Тожже люди»...*

— Да, и эта двухчастевка даже сохранилась — ее показывали в Киноцентре перед какой-то моей премьерой... Там несколько кусочков из четвертого тома, когда Кутузов говорит «Тоже и они люди» — про пленных французов, — и идет удивительная такая сцена братания у костра, наш разучивает французскую песенку, звезды над ними шепчутся...

— *Поразительно, как вы отобрали у мясного, кровавого, плотского Толстого единственную сентиментальную сцену. Он вообще не верил в чувства добрые, по-моему...*

— Нет, не надо так про Толстого. Да он самый поэтичный русский писатель, вспомните Наташу Ростову!

— *Животное...*

— Да?! А с Соней на окне?! Когда летать хотела и князь Андрей ее подслушивал?!

— *Любите вы его, я вижу.*

— Люблю, да. Всю жизнь «Хаджи-Мурата» хотел поставить. Я хотел снять трагедию, мощную. Кулиджанову разрешили поставить «Хаджи-Мурата», а мне — «Преступление и наказание». Но я так хотел эту толстовскую вещь ставить, что мы поменялись. Он «Преступление и наказание» поставил — и хорошо, по-моему, — а мне картину дважды закрыли. И сценарий уж был — с Гамзатовым и Огневым мы его написали, — и пробы, и Кикабидзе утвержден... А — не трогай кавказскую тему! Это я теперь понимаю, тогда-то не знал, почему такие трудности...

— *Вы следите за этой кавказской войной?*

— Как не следить.

— *И?*

— Мерзкое дело, мерзкое... Ну как можно относиться к войне? Всякая война плодит только садистов... И заметьте, когда началась Вторая мировая — все было понятно. Вот мы, вот немцы. Десять лет мне было, а когда кончилась — пятнадцать, чуть-чуть я не успел под призывной возраст. И все понимал. А сейчас война без правых, в ней и дети наши не разберутся. С одной стороны, банды какие-то, похищения людей. С другой стороны, после пяти месяцев бомбежек все похитители живы и в большинстве своем благополучны. Воюют за целостность России, но почему-то уничтожают первым делом нефтеперерабатывающий завод, и вообще все крутится вокруг нефти. И наконец — кого убивают, что-то я не понимаю? Я был в Сталинграде после войны. Он был очень похож на нынешний Грозный. Но в Сталинграде было хоть понятно, кто с кем воевал. Что-то, когда выходят в Грозном люди из подвалов, я вижу в основном русские лица и слышу русскую речь! Там кого больше погибло-то — русских или чеченцев? Никто никогда не скажет...

— *Я недавно видел — сняли тогда об этом телесюжет, — как вы сами записываете песенку на стихи Шпаликова для «Слезы капали».*

— Да, это был единственный раз, когда я использовал такого плохого певца. Но Канчели — постоянный мой композитор, работающий в очередь с Петровым, — прослушал и сказал, что представляет эту песню только в моем исполнении. Пришлось оставить.

Шпаликов был мой друг. Близкий. Я хотел ему передать такой привет, потому что мне нравятся эти

стихи, и я всегда считал, что он прежде всего поэт, только потом драматург. Мы сделали с ним единственную картину — «Я шагаю по Москве», — но дружили всю жизнь.

— Я, кстати, пересмотрел недавно «Я шагаю» и удивился: откуда столько счастья? Миф какой-то о тогдашней Москве. Ну с чего все эти люди так ликуют?

— Да я сам, знаете, удивился, когда его снял. Мне это не нравится. Конечно, не такое было время. Я участвовал в создании мифа о нем. Но... понимаете, вот бывает, что проснешься в чудесном настроении и вдруг напишешь чудесные стихи. Ни с того ни с сего. А у меня был и предлог — я потому так полюбил Москву, что вернулся из Арктики, где полгода снимал «Путь к причалу» и тосковал, естественно. Как в Гениной песенке — «А если вдруг по дому загрушу». Я приехал — а здесь ТЕПЛО, представляете? И это вызвало такой восторг, что я снял совершенно счастливое кино. Больше со мной такого не случилось, так что один раз, я думаю, простительно...

— Я все пытаюсь понять истоки шпаликовской трагедии: ведь сам он писал, что не в советской власти было дело. И алкоголизм был наверняка ни при чем...

— И алкоголизм при чем, и советская власть при чем, — это вещи на самом деле взаимосвязанные. Он страшно бедствовал. Взял аванс на Киевской студии — и весь его отдал Виктору Некрасову, тогда травимому. Об этом узнали, он остался без заказов, поденщиной заниматься не мог, — вот фон его трагедии. И никто не мог ему помочь, потому что

в буквальном смысле земля ушла из-под ног. Он для выживания не был создан совершенно. Гена был человек светлый, теперь таких и нет, я думаю.

— *И Мимино тоже нет...*

— Наверное. Этот тип людей совершенно ушел, как ушел странный и убогий наш идеалистический социализм. О котором я сейчас так много думаю.

— *И что думаете?*

— А вот думаю, что социализм был бы прекрасен, если бы был возможен. Но человек — эгоист по своей природе, и эгоистическое, низменное это начало берет в нем верх. А потому единственным выходом остается капитализм, который никого ни на что хорошее вдохновить не может. У капитализма ведь какой лозунг?

— *Работай как вол, и будешь жить как человек...*

— Нет. Работай как вол, а жить как люди будут несколько тысяч человек. Вот и весь капитализм. Получает ли жизнь человека при таком подходе хоть какие-то оправдания? Не знаю. Вот я смотрю телевизор и вижу жителей Северной Кореи. Да, все они находятся под массовым гипнозом. Да, они отвратительно живут, горстка риса в день и все такое. Но они счастливы, у них есть дело жизни, и, умирая, озирая свою жизнь, они скажут: хорошая была жизнь. Теперь смотрю я на Южную Корею: живут они не в пример лучше. Денег больше, товаров полно, рабочий день короткий. И — непрерывные уличные драки, демонстрации, полиция... все недовольны! Да, свобода. Да, рынок. Ну и кто был счастлив-то? Понимаете, это же не последняя вещь — был человек счастлив или нет.

— *Но такой гипноз предполагает и репрессии...*

— Знаете, при Сталине девяносто процентов людей были уверены, что все-таки мы строим новое общество. Небывалое. И цель эта была настолько грандиозной и вдохновляющей, что репрессии в формировании советского человека играли далеко не главную роль. Они были — где-то там, их предпочитали не видеть.

— *Господи, да неужели это лучше было?*

— Да я не даю ответов, я только смотрю на эти две Кореи и думаю, что счастье большинства — тоже не пустой звук...

— *Как я понял, вы снимаете быстро и дешево.*

— Быстро — да. Когда Симонову пригласили пробоваться на «Афоню», я утвердил ее немедленно — так она мне понравилась. И тут говорят: она снимается в другой картине. Ах ты, что делать! Я тогда все сцены с ней, всю натуру снял за три дня. Но насчет дешево... «Кин-дза-дза» сегодня стоила бы миллионов семь — долларов, естественно. Один пепелац, в котором все крутилось, на сколько потянул...

— *А новая картина у вас дорогая?*

— Дешевая, мы этот сухогруз для съемок купили. А потом опять продали. Стоил он, как старые «Жигули». Там команда: капитан — Кикабидзе, с ним — Петренко, Леша Кравченко (вы его наверняка помните по «Иди и смотри»), Даша Мороз и Вася Соколов. Они новобрачные, по фильму.

— *Слушайте, это же чистая «Аталанта» получается!*

— Так я и задумал ремейк «Атланты», но что-то сценарий очень далеко ушел от Виго. Только и осталось, что баржа да влюбленные.

— *Есть у вас любимый режиссер?*

— Если абсолютно весь и целиком, то Феллини. Особенно «8½». Из нынешних — Герман, Никита Михалков. Ближе других Шахназаров.

— *Интересно, а у лучших грузинских режиссеров есть что-то общее? Вы, Иоселиани, Абуладзе...*

— Ну, Иоселиани замечательный, но он на Абуладзе совершенно не похож, и Абуладзе сам на себя не похож — настолько у него были разные картины. Родство я чувствую с одним только человеком, родство такое, что если б я помер на площадке — я б хотел, чтобы он за меня доснял. Мне кажется, он все правильно сделал бы. Эльдар Шенгелая — «Голубые горы», «Необыкновенная выставка»...

— *А ведь и правда похож! И ведь не скажешь, чем...*

— Это и есть родство, когда не скажешь.

— *Вы, по-моему, к религии должны относиться довольно скептически.*

— Как сказать? Я ношу крест, его подарил мне брат. Кресту больше тысячи лет, он с грузинских раскопок. Грузия ведь приняла христианство на четыре века раньше России (*с тайной гордостью*). А в остальном я человек нецерковный, руки кому-то целовать — это не мое...

— *А загробная жизнь?*

— Вот она точно есть. Это я даже не верю — это я знаю.

— *И доказательства получали?*

— Получал.

— *Не скажете?*

— Нет, естественно.

— *И что, нам там действительно воздается за грехи?*

— Нет, не думаю, это вы бросьте. Ну что это, бухгалтерия, что ли? «Небесная канцелярия»? Сидят, высчитывают: а зачем ты в таком-то году четыре листа ватмана украл? Нет, если существует вечность — а ведь если есть загробная жизнь, то она навсегда, — то для нее так ничтожно все, что здесь было... Это такой крошечный отрезок с точки зрения вечности-то... так, командировка... И потом, может ли человек отвечать за все, что делает? Один родится генетическим злодеем и ничего не способен изменить. Другой и понимает все, но слаб, силы ему не вложено, чтобы противостоять миру. Я думаю, там сквозь пальцы посмотрят на наши грехи.

— *А нищим подаете?*

— Когда как.

— *И каким подаете? Старикам?*

— Среди стариков тоже встречаются «члены профсоюза». Этих сразу видно — они профессионалы. Нет, я подаю только тем, кому не подаст никто, кроме меня.

Татьяна Друбич

Легенда о недоступности Друбич для журналистов как будто подтверждалась. Ее мать и дочь уже узнавали мой голос — мать с сочувствием, дочь с явным раздражением. Я искал ее две недели и наконец нашел.

— А зачем мне давать вам интервью? — *спросила она.*

— *Клянусь, Татьяна Люсьеновна, ваша личная жизнь меня не интересует.*

— Меня тоже.

— *Мы хотим вас поместить на обложку.*

— Ни в коем случае. Я с удовольствием поговорю с вами. Но зачем печатать?

— *Мне есть о чем вас спросить. Может, это еще кому-то будет нужно.*

— Хорошо, я приеду.

— *Не забудете?*

— Если я уже соглашаюсь, то приеду точно.

Вечером того же дня Друбич через каких-то людей нашла мой домашний телефон, чтобы предупредить, что опоздает на пятнадцать минут.

— *Таня, вы мне представляетесь потрясающе честным человеком. То есть даже опоздать на пятнадцать минут не можете.*

— Это другое. Я просто никогда не опаздываю, потому что после этого очень некомфортно себя чувствую. Физически некомфортно.

— *И врать вы, по-моему, не любите.*

— Странный вопрос. А вы любите?

— *Я — да.*

— Значит, вы можете себе это позволить. А я играю на другом поле. Нас воспитали в системе отвратительных условностей, мы не умеем говорить «нет». А мне пришлось этому научиться.

— *Если во всем признаться, то есть и себе не соврать, — жизнь станет невозможна.*

— Она и так невозможна. Но отменить ничего уже нельзя.

— *Вам вообще, в принципе, нужно общение с людьми?*

— Нужно, конечно. Как же без него? Общение нужно хотя бы для того, чтобы понять, что оно не нужно. Я не капризничаю, когда отказываюсь от разговоров. Хотя дважды журналисты кинули меня действительно очень сильно. Один раз это была телепрограмма. Я смотрела ее вечером, одна, на даче. Выключила, не сумев досмотреть. И всю ночь просидела в кресле, не представляя, как завтра рассветет — и мне уже придется жить с этим позором. В кадр попали вещи, которые я говорила не для съемки, не для записи, — меня на них, что называется, «развели». Журналисты — это как милиционеры, как мусорá. С ними нельзя говорить откровенно, в какой-то момент у них включается профессионализм.

— *Вы всегда можете в лицо человеку сказать правду?*

— Сначала не могла. Но потом поняла, что так милосерднее.

— *И конформистов не любите?*

— Не люблю. Но что называть нонконформизмом? Я уверена, что если человек поступается собой ради публичности, это снижает его личный масштаб. Сергей Соловьев, по моему убеждению, гениальный режиссер и уникальный человек. Многие недооценивают его масштабы именно потому, что их снизила публичность. Он все время ощущает себя кому-то должным. А должны мы бываем только деньги.

Но подлинный нонконформизм — вещь невыносимая, и вряд ли он часто встречается. Кто из нас может сказать, что он не примеривается к обстоятельствам? Ведь была война в Чечне, а мы так и жили... словно ничего не было... В этом смысле, например, настоящим человеком я могу назвать Сергея Станиславовича Говорухина, который снял там фильм и потерял ногу. Я послушала его и поняла, кто такие рядом с ним мы все.

— *Я удивился, узнав, что вы согласились сниматься у Зельдовича в «Москве».*

— Это первоклассный сценарий, открывающий новые изобразительные возможности. Фильм почти готов.

— *И что, вам нравится реальность, о которой это кино рассказывает? Клубная жизнь и новорусские трагедии?*

— Слова «трагедия» применительно к современности я стараюсь избегать. Мы не трагические персонажи. Мы все, если сравнивать с чем-то се-

рьезным, очень благополучные люди. Что касается фильма — это попытка рассказать про время, которое мне все-таки скорее нравится, чем наоборот.

— *Бог мой, чем?!*

— Все стало честнее. Раньше люди непрерывно выделывались, что-то изображали из себя. Закупали эти бесконечные книги целыми полками, говорили об умном, получали ненужное образование... в общем, все время ввали. Сегодня каждый стал стоять того, чего стоит.

— *Это и есть самая отвратительная ситуация.*

— Почему?

— *Потому что человек, как говорил один тут немец, это его усилие быть человеком. Сейчас он этого усилия не делает.*

— И тогда не делал.

— *Тогда он делал вид.*

— Это еще хуже. Мне все-таки больше нравится, когда люди честно становятся теми, кто они есть. Когда у того, кто был бы в семидесятые годы вполне заурядным персонажем, появляется возможность сделать гигантские деньги...

— *И он становится зверем.*

— Пусть так. Но мы его видим. Или не становится зверем, а реализуется. Когда мне было семнадцать, мне в душу запала фраза Валерия Плотникова, одного из немногих настоящих западников того времени, совершенного Чаадаева по складу ума: «Что советский мужчина может дать женщине?» И действительно — что?

Бизнес не может быть содержанием жизни. Человек не должен сходить с ума, если рушится его состояние. Бизнес — по крайней мере в моем слу-

чае — возможен как хобби, позволяющее расширить общение и чему-то научиться.

— *Но те, кому сейчас пятнадцать — и кого я знаю очень хорошо, — вследствие этой честности, о которой вы говорите, вообще не читают книг. Они честно превращаются в полуживотных, для которых культура — безнадежное излишество. Это честно, по-вашему?*

— У меня бывают такие мысли. Культура не может быть уделом всех, и всеобщее среднее образование — тоже. И я не заставляю свою четырнадцатилетнюю дочь читать книги, потому что опасное это дело — с ранних лет много читать.

— *А вы много читали?*

— Я? Очень. Поколение, о котором вы говорите, — это расплата наша. Они первыми увидели, как мало соотносятся между собою вложенный труд и заработанный результат. Они увидели, что можно всю жизнь впахивать и остаться ни с чем, а можно не делать ничего и жить превосходно. Для следующих поколений это уже не будет таким шоком.

— *А собственное поколение вас устраивает?*

— Да. Не все встроились в новую модель, но тех, кто встроился, — я думаю, еще оценят. На подвиг способны девяносто девять процентов людей. А вот ежедневно выживать и не свихнуться — это достойно, здесь чувствуется масштаб. Для меня человек, который каждый день ходит за хлебом, тащит жизнь и умудряется не скурвиться, — тоже герой.

— *Вы следите за политикой?*

— Нет. Меня не занимает проблема президентских выборов, например. Я постаралась выстроить свою жизнь так, чтобы зависеть от политики как

можно меньше. Не устраивают меня, скажем, коммунисты, но это происходит не на сознательном, а на чисто физиологическом уровне, это брезгливость... А в принципе боюсь я только одного — что в один прекрасный день заставят сдать загранпаспорта. Все мы задавали себе этот вопрос: ехать — не ехать... Я ответила так: зарабатывать здесь как можно больше, чтобы ездить туда как можно чаще.

— *Вы еще работаете в поликлинике?*

— Уже нет.

— *А где тогда?*

— Нигде. Я сейчас не работаю.

— *А на что живете?*

— Нет, ну как на это отвечать?!

— *По-моему, вам много денег не нужно...*

— Это как сказать. Без необходимого могу, без лишнего никогда.

— *Это не вы придумали, а Ахматова.*

— Я знаю.

— *Вас никогда не раздражают больные?*

— Я подсчитала, что на приеме примерно шестнадцатый человек — мой личный враг. Это не столько раздражение, сколько усталость. Но вообще я отношусь к больным примерно так же, как вы к интервьюируемым. Это ведь ваша работа? Вы не раздражаетесь?

— *Я имею дело в основном со здоровыми.*

— Здоровых нет.

— *Ну уж! Больной очень жалок, по-моему. Человек вообще жалок, когда цепляется за жизнь.*

— По идее, за жизнь цепляться не надо. Очень многие подлости могли бы не совершиться, если бы человек не боялся смерти. Болезнь и смерть, гово-

рю как медик, необходимы для сохранения вида... Но это мы сейчас с вами так говорим, относительно молодые, относительно здоровые. Когда нам будет по восемьдесят, подозреваю, мы оба не откажемся сходить в банк клонированных органов и взять себе новенькую печень...

— *А это будет возможно?*

— Абсолютно реально.

— *Вы терапевт?*

— Эндокринолог.

— *Неэстетично. Если бы кардиолог...*

— Врач — вообще не очень эстетичная профессия. В любом случае. Но все равно главная, если не единственная. Сначала Господь Бог, потом врач.

— *В Бога вы, по-моему, не должны верить.*

— Сложно сказать.

— *Во всяком случае, бессмертие души вы вряд ли допускаете.*

— Не знаю, честно. Но если человек столько делает для бессмертия — пишет, снимает, изучает, — если все его усилия направлены на преодоление смерти, значит, бессмертия, скорее всего, действительно... Впрочем, нет, не знаю.

— *А физическое бессмертие достижимо? Спрашиваю как врача.*

— Знаете, если вот этот век был веком революции технической, то следующий начнется с биологической. Современная медицина уже сейчас в состоянии доказать, — об этом мне говорил академик, чей авторитет бесспорен, — что есть люди и есть нелюди. Они различны даже на генетическом уровне.

— *Представляете — а если их не два класса, а двадцать пять? Как у Гребенщикова: есть люди типа А и люди типа Б!*

— Запросто.

— *Но тогда проблемы с браком вообще не будет. Сдаешь анализ крови — и тебе подбирают партнера твоей группы...*

— Думаю, что отношения полов вообще совершенно изменятся. Проще будет менять, прогнозировать пол... Продолжительность жизни, мне кажется, дойдет лет до ста пятидесяти — двухсот. Некоторые признаки этого я замечаю и сейчас. Сравнить хоть нас и родителей: те в сорок лет — взрослые, умудренные люди. Мы в сорок — в большинстве — такие дети! А иные, я гляжу, и в пятьдесят... Значит, люди чувствуют, что у них что-то впереди, что они успеют стать взрослыми. Человек подсознательно чувствует, на сколько он рассчитан.

— *Что такое для вас инфантилизм?*

— Отсутствие религиозного чувства. То есть... это не обрядность, не вера в личного Бога, не поведение даже... Религиозное чувство — это понимание, что на свете есть что-то более важное, чем твоя жизнь. Почему так хорошо воюют исламские фундаменталисты, так отважно действуют курды? Потому что есть вещи, которые им дороже жизни. Инфантилизм — это когда человек все время заслоняется от жизни какими-то игрушками. Например, пытается пройти туда, куда пускают не всех. Через VIP-зал.

— *Это вы толкучку на михалковскую премьеру имеете в виду?*

— Ну, хотя бы... Но там-то как раз все естественно. Продюсерская кампания прошла на пять с плюсом. Есть кино определенного типа, его и презентовать надо по определенному разряду. Фильм Михалкова — отличный водевиль, я не понимаю,

чего все на него накинудись... Тем более что деньги все равно не вернешь, они потрачены. Какими-то смешными вещами заняты люди. Ну вот скажите, какой смысл ругать кино?

— *Люди боятся, что им навяжут такое будущее... сусального плана...*

— Люди боятся ЛЮБОГО будущего. Какое им ни покажи — они будут недовольны. Очень многие вообще заняты вещами, смысла которых я не понимаю. Это все какие-то отвлечения, какое-то... ну, как моя героиня говорит в «Москве»: кажется, что твердая вещь, а ткнешь — внутри картофельное пюре. Соловьев однажды процитировал мое давнее определение, с которым я и теперь согласна: век фуфла. Век подмен. Все это с дикими понтами.

— *За это определение Соловьев вас, кажется, назвал островом идеального в реальности...*

— Ну, он имел в виду не идеальность мою, а идеализм.

— *Вы можете себе позволить такую прямоту. Женщине вообще проще быть нонконформисткой.*

— Почему?

— *Баба — она как Бог, для нее таких вещей, как доброта, вообще нет. Она всегда на стороне силы.*

— *Сила бывает разная, бывает сила таланта, ума...* Но вообще вы правы.

— *Я вам больше скажу. Женщина всегда приземляется на четыре лапы.*

— Вот уж нет! Она ближе к жизни, органичнее, это верно... Но жизнь ведь тоже довольно уязвима.

— *Вот вам пример: когда мужчина уходит от женщины, он чувствует виноватым себя. Когда женщина от мужчины — чувствует виноватым его.*

— Совершенная неправда! Я всегда чувствовала виноватой себя. И вовсе не приземлилась на четыре лапы. То есть я встретила другую жизнь, но — я не замужем и ни с кем не живу.

— *Но, коль скоро уж мы заговорили о вашей личной жизни, от которой так старательно убегали, — уходя от Соловьева, вы же не могли не понимать, что ломаете его жизнь?*

— Не убеждена. Мне кажется, ничью жизнь вообще нельзя сломать — во всяком случае, это не может быть делом рук одного человека. Но думаю, что, уходя, я ее как раз выправила. А искривила, сбила — когда появилась. Я думаю, он мог быть счастлив с другой женщиной... женщинами... Вообще прожить всю жизнь с одним человеком нельзя. Я смотрю на многие браки моих ровесников и не понимаю, что держит их вместе. Дети? — это прекрасно, но все-таки недостаточно. Думаю, институт брака вообще отомрет в начале будущего века.

— *Вам совсем не нужен кто-то рядом?*

— Почему, я и сама думаю, и дочери объясняю, что счастье — это правильный выбор трех вещей. Места, где живешь. Профессии... нет, точнее — деятельности. И партнера.

— *А вы довольны местом, где живете?*

— Нет, меня не устраивает климат. Вообще место, где нет моря, не может мне подходить.

— *А какое может?*

— Визуально — Латинская Америка, но там жить нельзя, во всяком случае постоянно... Если бы я могла, жила бы в Крыму. Лучше Крыма я в своей жизни ничего не видела. Еще в Париже хорошо...

— *Вы намерены сниматься и впредь?*

— Кино — это такая случайность в моей жизни, которой лучше бы не было. У меня нет никаких данных, чтобы быть актрисой. Я не пластична. Не обладаю низким стартом.

— *То есть?*

— То есть не могу с места в карьер разрыдаться или расхохотаться. Я очень однообразна. И вообще кино меня не интересует. Мне бывает приятно сниматься, было приятно работать с Рязановым. Он удивительно герметичный человек — сумел закрыться от всего нынешнего и снимать такое же кино, как снимал всегда.

— *Скажите опять же как врач, что лучше для здоровья: мучить себя тренировками, бегом, диетой — или позволять себе все? Рязанов, например, никогда ни в чем себе не отказывал...*

— Да, Рязанов ест много, он это любит. Но, тем не менее, в семьдесят лет у него юношеская энергия и кристально ясное сознание. Тут раз на раз не приходится. Андрей Кончаловский в свои шестьдесят феноменально красив и молод — всю жизнь бегал, прыгал... Приятно посмотреть, особенно на фоне ровесников. Но в общем, конечно, следить за собой надо. Не потому, что я призываю безумно дорожить жизнью, спортивной формой (я сама неспортивный человек совершенно, просто вынослива от природы), — противен тип людей, озабоченных только функционированием своего организма. Здоровым надо быть, чтобы не обременять других. Здоровье — это комфорт, не больше, но и не меньше.

— *Насчет еды: многие жрут исключительно в порядке компенсации. Все плохо, настроение никуда — так хоть поем как следует...*

— Это бывает. Есть даже термин такой — «ожирение эмигранта». Такая тоска по Родине, что все время что-нибудь ешь. Но на меня в случае ностальгии еда не действует. Тем более что люди моего поколения на свою Родину все равно не попадут уже никогда.

— *Кстати, ваш отец — не француз? Отчество «Люсьеновна»...*

— Нет. Я еврейка.

— *Ну, в этом признаваться необязательно — еврейский вопрос меня не интересует совершенно...*

— Меня тоже. А родственники мои в основном в Сербии, там много Друбичей.

— *У вас есть любимая и нелюбимая картина?*

— Из тех, что не со мной?

— *С вами.*

— Любимая — «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви». Нелюбимая и даже ненавидимая — «Асса».

— *А из тех, что не с вами?*

— Я люблю хорошее индийское и китайское кино. Не люблю старательно изображаемой высоколоскости... Лучший русский фильм последних десяти лет — «Астенический синдром» Киры Муратовой.

Вообще современное искусство я плохо знаю. Мне кажется, почти все искусство XX века — это вот открыл человек какой-то прием, феньку, и на этом приеме так до конца и едет. Однообразие и эксплуатация, выдаваемые за «свое лицо».

— *А есть у вас любимый роман?*

— «Анна Каренина». Толстой был гений в полном смысле. Ему повезло столько прожить, чтобы до этого дописаться (ранний-то он не очень нра-

вится мне). Настоящих гениев за всю историю человечества было, я думаю, не больше четырехсот. Во всех областях, от музыки до математики. И не всем, наверное, повезло осуществиться... хотя нет. Гений не может не осуществиться, в него программа заложена — сделать максимум.

— *Но вы бы Анну сыграть не смогли.*

— И не стала бы. Лучшей Анной, которую я видела, была Самойлова. Отличная Анна — Евгения Симонова в недавнем спектакле своего мужа.

— *Кстати, живут же вместе Симонова и Эшпай — дивно гармоничная пара!*

— Живут...

— *У вас никогда не было комплексов по поводу того, что муж намного старше вас? Или вы себя чувствовали его ровесницей?*

— Это он меня чувствовал своей ровесницей.

— *Вы водите машину?*

— Да, и неплохо. В «Дуралеях» сама вожу. Я даже дала интервью журналу «За рулем». Мне очень этого не хотелось, но мамина соседка по даче, дочь которой там работает, ее попросила... Мама сказала, чтобы я не отказывалась. Она вообще у меня такой человек... считает, что надо разговаривать со всеми...

— *А кто она по профессии?*

— Экономист.

— *Дочь уже выбрала занятие?*

— Я бы хотела видеть ее доктором, но почти уверена, что Сергей будет против.

— *Вы зависите от погоды?*

— Хотела бы я посмотреть на человека, который от нее не зависит. Особенно если он — женщина,

которая по природе своей циклична. Конечно, и от погоды завишу, и от времени года. Весной и летом чувствую себя лучше всего.

— *Я бы мог вас и еще мурыжить расспросами, но совесть не позволяет. Вообще, знаете, я многие ваши ответы угадал. Так что мог бы почти все интервью написать заранее, не вытаскивая вас в редакцию и не заставляя разговаривать.*

— Ну и напишите! Задайте еще несколько вопросов и сами ответьте, я разрешаю. Будет даже интереснее.

— *Слушайте, а вы всегда себя так контролируете?*

— Нет. Когда очень сильное чувство, не контролирую. Если совершается какая-то безнравственность — измена, например, — то можно простить... или хоть понять... при условии, что это сделано из-за сильной страсти или больших денег.

— *Из-за денег тоже?*

— Тоже. Я говорю «понять», а не «оправдать». Из-за всего остального — нельзя, потому что это мелочно.

— *Вы когда-нибудь пробовали наркотики?*

— Нет.

— *А под общим наркозом бывали?*

— Я из него не выхожу.

Илья Кормильцев

Это интервью взято при первом знакомстве с Ильей Кормильцевым (1959—2007). Здесь мы еще на вы и вообще мало друг о друге знаем. Впоследствии мы общались тесно и говорили о вещах куда более важных, но мне дорог именно этот первый разговор, опубликованный в «Собеседнике» под названием «Нонконформильцев». Здесь еще слышно придыхание и чуть ли не благоговение — которого я, впрочем, не утратил и потом.

— *Тексты «НАУ» — почти бред, абсурд, подсознание, но именно это выражало абсурдную действительность — нет, не нашу, вообще разорванное, истерзанное сознание конца XX века. Вам не кажется, что здесь — разгадка успеха?*

— Нет, бредом я не назвал бы это. Это может показаться бредом только так называемому нормальному человеку, который на самом деле просто не сознает всей своей ущербности. Тексты настоящих сумасшедших, как правило, скучно читать — они совершенно бессвязны и с миром никак не соотносятся. А в моих стихах просто несколько сдвигаются понятия, в остальном же там действуют строгие логические законы, которыми и мир управляется. В научность и строгость этих законов я верю абсолютно, потому что сам получил «химическое» об-

разование и на мир во многом смотрю как естественник.

— Видимо, именно из-за этих текстов о вас ходит множество слухов.

— У меня совершенно тривиальная биография. Я родился в 1959 году в Свердловске и прожил там всю жизнь, кроме тех двух лет, когда учился на химфаке Ленинградского университета. Все страсти и гиперболы, которые присутствуют в моих стихах, — это, видимо, компенсация того, что сам я веду очень тихую и совершенно нормальную жизнь. «Я хочу быть с тобой» выросло целиком из того, что однажды кто-то вовремя не позвонил (не позвонила). Все остальное я вывел из этого, наращивая напряжение. Русский рок вообще целиком держится не просто на энергетике текста, но на образности. Мне менее всего интересны политические прокламации в роке, и даже в западном — например, англосаксонская политическая партия «Пинк Флойд». Даже в «Стене» — все это только продолжение Хаксли и Оруэлла, и в этом есть фальшь, потому что «Пинк Флойд» при тоталитаризме не жили, а мы жили и чувствуем это иначе. Рок едва ли должен быть против чего-то. Вот Бутусову недавно предложили участвовать в фестивале «Рок против полицейского террора», а он сказал: если я буду участвовать в каком-либо подобном мероприятии, то только в «Рок против тараканов».

...А «Делон» вообще списан с природы. Я тогда переводил с итальянского (профессия — технический перевод) в семидесятитысячном уральском городе Ревда. Итальянцы строили завод, я переводил и глядел на город глазами его обитателей, глазами

итальянцев и еще — собственными. Из этих трех взглядов на вполне конкретное существо образовался «Делон». Мои дети теперь играют в «Алена Делона — французского шпиона», который, само собой, одеколона не пьет.

— *Что предопределило эту мрачную, жутковатую образность «Помпилиуса», не Свердловск ли? Я бывал там — это мрачный город, как почти вся русская провинция...*

— Я никогда не ощущал Свердловск провинцией и никогда не чувствовал себя в нем плохо. Он раскрывается не сразу и ключ отдает нелегко. Мой рецепт выживания в нем элементарен: родиться там... и в России тоже: родиться и жить в ней. Пока ты ее чувствуешь своей — можешь вынести все, как только это чувство пропадает и ты начинаешь ее рассматривать как что-то, существующее вне тебя, — кончено, остается только выезд. Я люблю цитировать своих друзей, и вот Мейнерт, ведущий рок-н-рольных программ Эстонского радио, сказал однажды: «Секрет популярности “НАУ” в том, что эта группа никогда не противопоставляла себя обстоятельствам, иначе говоря — не искала причины трагедии где-то вовне». Все набитые тобою шишки на самом деле предопределены твоей личностью, характером — этим можно утешаться: чужие шишки на тебя никогда не свалятся, если ты не будешь уж слишком усердно подставлять под них голову. Все, что с тобой происходит, может произойти с тобой одним, потому что ты — всему причина.

— *Значит, каждый наказывается по делам?*

— Наказание — понятие условное, просто каждый поступок вызывает следствие. Надо быть к этому го-

товым. Тут действуют одни и те же законы, почти физические и общие для всех, потому что с точки зрения биологии все люди одинаковы. Покажите мне хоть одного человека, который ни разу не хотел убить. Говорит, что не хотел? Врет, обязательно хоть раз думал об этом. Я смотрю на человека как на существо биологическое, почти как на животное, и мое настольное чтение сейчас — книги Лоренца по этологии*.

— *Но значит, мы по самой природе своей — эгоисты...*

— Зачем придумывать слово «эгоист», когда уже есть слово «человек»? Это просто некорректный термин. Мы ведь и добрые дела совершаем ради себя — или из прямой выгоды, или для очистки совести...

— *Как тогда быть с нравственностью? С религией?*

— К религии я отношусь достаточно сложно, особенно сейчас, когда вокруг столько поповщины. Всем этим я старательно переболел в отрочестве и юности. «Нравственность» — тоже неточное слово. Это та часть законов космоса, по которым мы живем, часть, постигнутая нами. Не постигнутого еще больше. Просто это та часть объективных законов, по которым естественно жить в обществе. А значит, и удобно. Поскольку зло вызывает цепочку следствий и чаще всего возвращается к своему носителю — просто удобнее быть добрым, вот и все. Религия предписывает это нормативно, приводя часто к насилию над собой...

— *То, что вы говорите, отчасти перекликается с Ницше...*

* Наука о поведении животных, включая нас. — Д.Б.

— Я очень хорошо к нему отношусь, но в России он не понят. Чтобы оценить русские интерпретации Ницше, достаточно взглянуть на усы Максима Горького. Он их отращивал в подражание Ницше, кумиру своей юности (это ему уже на Капри объяснили, что Фридрих был плох). Сравни усы Ницше и усищи Пешкова. Русские тексты Ницше — это набор ложных красотостей. В оригинале — это кристальная четкость. Да, он перегибал палку, утверждая, что сострадание только множит страдание, и прочая, и прочая... Сострадание, разумеется, нужно, но лишь в той степени, в которой помогает страдающему встать на ноги и не отчаиваться. Ницше можно понять: палку слишком долго перегибали в другом направлении — религия предписывала человеку в определенных ситуациях испытывать определенные чувства, да и вообще во многом диктовала, предписывала, насилывала. С этим я отчасти связываю и общемировой кризис культуры, который, на мой взгляд, продолжается на протяжении всей новой эры. То есть почти сразу после античности.

— *Но если вы смотрите на жизнь как на чисто биологический процесс, то вы должны радостно принять и свою гибель в естественном отборе, если она неизбежна и найдутся сильные?*

— Я всякую минуту к этому готов и удивляюсь, как это до сих пор не случилось. Это не снимает моего чисто эмоционального страха перед смертью, главного страха всякого человека, и это страх тем сильнее, чем спокойнее я осознаю разумом всю неизбежность конца. Но что я ее осознаю, в этом нет никаких сомнений. Что касается естественно-

го отбора, наверное, величайшим революционером в науке прошлого века был не Маркс, а Дарвин.

— *То есть выбор на самом деле между коммунизмом и дарвинизмом?*

— Да, человечество поверило в коммунизм и сильно ошиблось, от естественного отбора в обществе никуда не деться. Есть один парадокс. У человека эволюция протекает на уровне культуры, а отбор — на биологическом, животном, нормальном уровне. То есть эволюция отстает от отбора. Волк один раз попер на ружье, оно выстрелило, он скуля убежал, и у него рефлекс. А человек пошел по тупиковому пути — и опять по нему пойдет, и других поведет, и так много раз, пока у него не выработается новая адаптация. Это ведь и есть эволюция — появление новых адаптаций. Федоров, автор «Философии общего дела», совершенно гениально заметил: психология и душевные свойства человека не изменятся, пока качественно не изменится сам биологический носитель. То есть пока, например, человек не станет бессмертным, он останется прежним.

— *А он станет бессмертным? Вы верите в это?*

— Никаких технических препятствий этому в ближайшие 2-3 века я не вижу. Мы, естественно, не доживем, нам уж придется быть такими, какие мы есть. У меня был рассказик о человеке, который знает, что сегодня умрет, а завтра уже будет достигнуто бессмертие. Ему очень обидно.

— *Вы что, рассказы теперь пишете?*

— Да, в основном прозу, издаю в Свердловске журнал «Микс» («Мы и культура сегодня» — для средневысоколобых, сказал бы я), пишу роман...

— *А стихи вы совсем забросили?*

— Для себя почти ничего не пишу, но для «НАУ» продолжаю писать тексты, на них написан весь новый альбом «Наугад» в новом составе. Больше ни для кого, кроме «НАУ», писать не хочу и не буду — так, знаете, жена говорит, что после развода никогда больше не выйдет замуж. Моим словам, видимо, верить можно настолько же.

— *Чем вы отличаетесь от основной массы ваших слушателей, то есть от нынешних двадцати—двадцатитрехлетних?*

— О, мы счастливое поколение! Нам повезло: мы дважды разочарованы. И в левых, и в правых. Мы уже понимали, что слушать пленум или слушать «Свободу» — это не такая уж принципиальная разница... Так что мы не отравлены никакой догмой. Мы можем думать сами и учить этому своих детей. А их у меня трое: сын от первого брака, сын и дочь — от второго.

— *Рок в глубоком кризисе. Каким вы видите его будущее?*

— Мне кажется, он опять уйдет в подполье, причем это произойдет не нарочито, а просто потому, что его никто не будет слушать и он прогорит. Подполье в него опять привнесет элемент игры. Говорят, что рок сгубила массовая культура, — не думаю, он и сам по себе массовая культура. Культура вообще не нуждается в эпитетах. Культура для меня — все, что претендует на обобщение. Это не качественное понятие, а какая-то субстанция: либо ее нет, либо она есть. Это закон.

— *А вы еще могли бы назвать какие-то из признаваемых вами законов? О возвращающемся зле мы уже говорили, и о поступке и следствии, и об эгоизме...*

— Да я пишу обо всем этом. Но есть еще один закон, на котором я настаиваю абсолютно: ни одну истину нельзя абсолютизировать. Избегайте оголтелости, ничего хуже оголтелости нет. Вот мы иногда в отчаянии говорим: любви нет. Чушь! Или: гармония с собой недостижима. Опять-таки чушь: она достижима, но не абсолютно, а, как бы сказать, точно. Надо принимать жизнь такой, какая она есть. Но мы вольны смотреть на нее собственным взглядом и по-своему выбирать. Выбора во всякой ситуации как минимум два. Так что приемлемый вариант в большинстве случаев отыскивается.

P.S.: Чуть не забыл!

— *Илья, год назад вы отказались от премии Ленинского комсомола...*

— Ну да... потому что у нас совершенно нет традиции веселых политических шоу. Если бы можно было заказать лауреатский знак в форме шестиконечной звезды и чтобы председатель комитета по этим премиям Анатолий Иванов ее вручал... А так...

1990

Лев Лосев

Профессор Дартмутского университета, друг и коллега Бродского считается одним из лучших русских поэтов, живущих одновременно с нами.

— Я вот что замечаю: чуть только ваш лирический герой начинает вспоминать о России, он тут же старается перечислить максимум ее отталкивающих примет, чтобы таким образом, вероятно, обмануть тоску. «Покаянную искренность пьяниц, Достоевский надрыв стукачей, эту водочку, эти грибочки, этих девочек, эти грешки и под утро вместо примочки водянистые Блока стихи» — убийственный перечень, там много еще, и все-таки она держит. И вы ее ужасно любите, сколько могу заметить. Почему?

— Ответ первый, спонтанный и наиболее честный: не знаю. Но если вы предлагаете интеллектуально поспекулировать — давайте попробуем. Я думаю, что это, в общем, почти биологическое — тяга к прошлому, к местам, где родился, даже если ты родился в хлеву. Невозможно будет описывать этот хлев иначе как с подспудной любовью. Это... это отчасти то, от чего я убежал из России. По крайней мере мне так кажется. Это был страх того, что мне в несвободе и убожестве стало почти уют-

но. У Кублановского есть такое стихотворение: он на кладбище читает надпись на памятнике регенту Мошкову. И восклицает: «Хорошо нам на Родине, дома, в сальных ватниках с толщиной стежков. Знаю, чувствую — близится дрема, та, в которой и регент Мошков». Когда читаешь вслух — получается двусмысленность: стежков — стишков... Так вот, мне очень понятно ощущение этого уюта. Есть такая лирическая тема в русской литературе XX века — как хорошо в дерьме! Как тепло... Об этом писал Зошенко, когда у него — помните — уютный, мирный, сытый облик нищего. Он ведь Тинякова имел в виду, и в поэзии Тинякова тоже есть этот лейтмотив — как уютно на дне, как тепло в грязце, в падении! У Олеси это Иван Бабичев. У Шварца есть об этом в рассказе «Печатный двор» — прозу Шварца я считаю своим стилистическим идеалом... Вот я и почувствовал, что мне уже хорошо на Родине. Слово «застой» точно прежде всего в этом смысле: весь советский быт стал вдруг годен для жизни. Почти комфортабелен. Я был не бог весть что, но всякой халтурой мог уже зарабатывать на квартиру, на мебель... И в какой-то момент это стало меня пугать. Я понял, что вступлю в Союз писателей, что это окончательно выпрямит весь мой путь вплоть до литфондовских похорон по четвертому разряду. И эмиграция в этом смысле была совершенно спасительна. Вот моя мама уехала через два года после нас, в семьдесят лет, и врачи ей говорили — что вы, до границы не доедете! Она считалась тяжело больным человеком. Но переехав, скинула вдруг двадцать лет — словно шок пережила, — и прожила, слава богу, еще

двадцать с лишним лет. Если даже такому старому человеку это было целительно, то что уж говорить о нас с Ниной.

— *Но ведь вы ехали на пустое место, без гроша, с двумя детьми...*

— А знаете, это даже способствовало такому, я бы сказал, головокружительному куражу. Как жизнь после смерти, когда бояться уже нечего. Отчаянное веселье. Я пытался это описать в одном малоудачном стишке: мы улетали из Пулково, и я не знаю, как там сделано сейчас, а тогда была такая стеклянная галерейка, с которой провожающие еще могли махнуть вам вслед в последний раз. Расставались тогда в полной уверенности, что, конечно, навсегда. И когда я увидел на этой галерейке нависающее надо мной, опухшее от слез женское лицо — я подумал, что, вероятно, так выглядит последнее земное впечатление покойника, если он еще может что-то воспринимать. Рыдающая женщина над гробом. И понял, что с этого момента один я умер, а другой я начал с нуля, избавившись от всякого бремени. Очень полезный опыт. А детям было еще лучше — они приехали сюда, когда одному было тринадцать, другой — одиннадцать. Свой язык уже не забудут, к новому еще вполне восприимчивы.

— *Хорошо, а сейчас у вас нет ощущения уюта и застоя? Может, пора еще куда-нибудь эмигрировать?*

— Ну, теперь-то я уж эмигрирую естественным путем. А до этого вряд ли успею до такой степени изжить Америку, чтобы мне в ней стало скучно. Скажу вам честно, я ведь очень люблю эту страну. Замечательное коллективное достижение человечества. То есть я вижу специфические пороки аме-

риканские, весьма и весьма опасные — например, культ потребления, когда вся нация по субботам ездит закупаться, когда старую вещь не ремонтируют, а выбрасывают и покупают новую. Так ведь идеальное общество построено быть не может, а то, что здесь, мне кажется ближе других к моему идеалу. И когда в России репортажи об Америке идут в таком апокалиптическом тоне, — вот, Америка заканчивается, Америка в кризисе, — причем независимо от политического направления, с ликованием или с сочувствием, все усиленно приписывают Америке тупик и крах... ну это довольно смешно, мягко говоря. Про Ирак говорят, что это второй Вьетнам. Да Америка выиграла эту войну за три дня! Сейчас неизбежны мелкие столкновения, и они тоже иногда кончаются трагически, — но это уже, конечно, не война.

— *А к Бушу вы как относитесь?*

— С симпатией, хотя не всегда. Из пяти президентов, которых я застал в Америке, мне ни один особенно не нравился лично. Лучший, наверное, был Рейган — исключительно удачливый политик, с редкой ловкостью обделывал свои дела, и как-то все у него получалось на благо мира. Американцы вообще-то не очень любят своих президентов — сначала с большим энтузиазмом голосуют за них, потом начинают их же топтать. Это очень здоровая практика. Буша сейчас тоже много упрекают, иногда заслуженно, — но для борьбы с исламизмом, главной опасностью современного мира, он, вероятно, подходит.

— *Вы действительно считаете эту опасность главной?*

— Да, в силу многочисленности носителей радикального ислама. Самая горячая точка, на мой взгляд, сейчас Пакистан. У него есть оружие массового поражения.

— *У вас описывается всегда действительно уютная, кроткая, немного каратаевская Россия. И вдруг среди нее с такой легкостью прорезается зверство, дичь — откуда это?*

— Это есть, да. Но я не думаю, что это специфически русская черта. Кротость, каратаевщина, причем всегда с гнильцой, стремление к энтропии — это наше, а вот зверство — оно всеобщее, и нас от него хранят, по выражению Коржавина, «лишь тонкие стенки культуры, приевшейся песни мотив». Я живу с ощущением тонкости этих стенок. Заметьте, это сочетание кротости и жестокости с одинаковой стилистической силой описывают Платонов и Фолкнер, это — общечеловеческое... Я только не люблю, когда изъясляют бодрую радость при виде крови. Мне сейчас один молодой человек, Демьян Кудрявцев, прислал книжку своих интересных стихов, и там послесловие вашего любимца Лимонова. Про то, что пришли новые молодые люди и они построят новый мир из крови, грязи и почему-то соломы... У меня это вызвало вдруг ассоциацию со сказкой про «Трех поросят»: у одного избушка кровавая, у другого говняная...

— *Глядя отсюда: что все-таки происходит в России? Или, спросим конкретнее, что нового там происходит?*

— Есть очень точное евангельское определение того, что там сейчас делается: если зерно, падши

в землю, не умрет, то останется бесплодным, а если умрет, то принесет много плода. Говоря без метафор, происходит распад, который остановить нельзя...

— *И не надо?*

— Насчет «не надо» все сложнее, потому что распадается ведь не бессознательная материя, а страдают живые люди, и не только морально-интеллектуально, а физически. И конца этого процесса ни мы, ни вы уж точно не увидим. Это лет еще на сто пятьдесят, я думаю. Идет процесс распада цивилизации, или, если хотите, империи, достигшей своего пика уже давно и теперь деградирующей. А пиком этой цивилизации я считаю 1813 год — вход русских в Париж. Эхом того расцвета, отсроченным, как всегда, стал литературный расцвет, но и он весь пронизан настроениями деградации, распада. С тех пор, заметьте, у России уже не было удачных войн. Я старый уже человек и в результате критического передумывания всего усвоенного в детстве разделался почти со всеми мифами, но только совсем недавно поймал себя на том, что военная история России до сих пор казалась мне блистательной. Трудно найти более обоснованное заблуждение. После победы над Наполеоном военных побед у России практически не было, если не считать незначительного успеха на Балканах в 1877 году — раздутого сверх меры. Крымский позор (не знаю, отравился Николай Павлович или умер своей смертью, но травиться было с чего). Японский позор. Непрекращающийся кавказский конфликт — как видно сегодня, никого за три четверти девятнадцатого века так и не покорили. Катастрофа Первой

мировой войны, катастрофа в начале Второй мировой — и все это легко объяснимо. С солдатами обращались как с быдлом: что в царское время, что после. Как и в чиновничестве, в военной иерархии шла отрицательная селекция: самые бездарные оказывались наверху. Афганистан это показал с ужасной отчетливостью... Главные подвиги русского флота — это затопления собственных кораблей, что, конечно, свидетельствует о высоте духа, но военной победой в строгом смысле не является. Что касается солдатики — я по-прежнему его очень уважаю. Вот мой покойный тесть был классический русский солдат, такой, всегда ко всему готовый. Мальчишкой ушел в лыжном батальоне на финскую под прицел снайперов Маннергейма. Из четырехсот в живых осталось четырнадцать. Мой отец, белобилетник, ушел добровольцем 22 июня 1941 года. Жертвенность русского солдата — это обратная сторона бездарности русского полководца.

Я вообще не верю в историософские схемы — терпеть не могу вздорные выдумки Гумилева, по существу дико ретроградные для того времени, когда он их выдумывал. Данилевского или Шпенглера можно читать из культурно-исторического интереса, но в целом, что касается истории, я соглашаюсь с тем, что в «Августе Четырнадцатого» Варсонофьев говорит: «История — иррациональна, молодые люди. У нее своя органическая, а для нас, может быть, непостижимая ткань». Вот почему я верю только в факты, в эмпирику. А факты таковы, что все распадается под руками: государственная машина движется со страшным скрежетом, чиновничество ее задушило уже в девятнадцатом

веке совершенно. Отсюда в сознании инфантильных романтиков возникает какой-то восторженно преувеличиваемый фантом государства, идут разговоры о мистике государства, о его высшем предназначении, — такая компенсация беспомощности. А на самом деле — что такое государство? Это чиновники. Они необходимы, но их число должно быть минимально, и они должны служить, а не распорядиться. Служить под неусыпным контролем то ли государя, то ли демократических учреждений. А в России чиновничество разрослось, как уродливая, болезненная ткань. Вот почему весь русский романтический патриотизм, «государственничество», есть в конечном итоге обожествление бездарности и отрицательной селекции... и апофеоз территориальной экспансии. Ну на хрена, серьезно-то говоря, России все эти Кавказы? Какая была бы дивная, компактная, мононациональная страна! От Урала до Петербурга. Я бы, правда, Украину тоже уговорил.

— *А Сибирь?*

— Сибирь... посмотрим. Жалко всю отдавать.

— *Вам не кажется, что истинный расцвет искусств всегда приходился в России на периоды наибольшего бардака?*

— В начале века две гибнущие империи действительно дали замечательное искусство — Россия и Австро-Венгрия. Рильке, Фрейд, Малер, Кафка, Музиль, Чапек, Гашек, Йозеф Рот и проч., и проч., — и весь наш Серебряный век. Мне кажется, что сердце европейской культуры в начале века билось где-то в Галиции: с северо-востока — Россия, с юго-запада — Австро-Венгрия. А сходились две импе-

рии в точке, в крошечном городке с символическим названием Броды — откуда и вышли все Бродские, в том числе Иосиф, вобравший и русский, и европейский, и имперский опыт...

Но мне кажется, что в России и сейчас в смысле искусства все неплохо. Много хороших поэтов. Гандлевский, например, или упомянутый Кублановский, или Щербаков, которого я ни разу не слышал поющим, но прочитал стихи и удивился: по ним он должен быть одним из первых в поколении...

— *Он и есть, но числится по другому разряду. Что обидно.*

— И проза сейчас в России хорошая. Вообще людям, живущим во времена Солженицына, грех роптать: это бесспорный гений, по-моему. Правда, я люблю его особенно не тогда, когда он в чем-то уверен, а когда он сам сомневается. Русской литературе всегда вредила избыточная серьезность, а точнее, недостаток игрового начала. Хватит много на себя брать, я не вижу дурного в игре. У Бродского она почти в каждом стихотворении.

— *Я боюсь, что Бродский все-таки задавил русскую поэзию, в особенности молодую.*

— Да ничего он не задавил, просто его позиция, лирическая иногда, может быть, соблазнительна для молодых людей, которые без достаточных оснований примеряют на себя его опыт, его отчаяние и холод... Но Бродский ведь вовсе не был холоден. У него есть в стихотворении семидесятого года — «Я любил немногих, однако сильно». Если сейчас вспомнить — поразительно, сколь многих он любил. Как много он для всех делал, как раз-

давал деньги и рекомендации — настолько щедро, что рекомендациям этим на кафедрах славистики вообще перестали верить... Все обаяние его стихов возникало на контрапункте, на смешении этого холода и постоянного внутреннего жара, на стыке его отчаяния и его человечности; ничего он не был холоден — он прожил жизнь на страшном нерве, был буквально и переносно — с тонкой кожей, легко краснел, стремительно возбуждался, нигде не чувствовал себя в своей тарелке, все время был как бы в скорлупе — до такой степени везде ему было тесно. Его стихи поэтому так и действуют, что в них есть и холод, и жар, и мрамор, и живой, бешеный темперамент, — этого не воспроизведет никакой эпигон, так что за влияние Бродского можете быть спокойны... Интонации и размеры Бродского, его знаменитый дольник, который, кстати сказать, был в русской поэзии и задолго до него, — все, конечно, несет на себе его отчетливый отпечаток, но это вовсе не значит, что вы не можете этим пользоваться. Скрестите со своей интонацией — и все по-другому зазвучит.

— *Большинство ваших стихов выглядят очень спонтанными и, простите уж, легкими. У вас легко это получается?*

— Да я, честно говоря, не понимаю, что значит работать над стихами. Мне даже поначалу было неловко принимать похвалы близких, — а далеким я тогда не показывал, — потому что мне казалось, что это не совсем я пишу. Большинство стихов вообще придумано бессознательно, в состоянии между сном и явью. Я не хочу сказать, что целое стихотворение могу так написать. Спросонья являются толь-

ко ходы, общий очерк, отдельные строки, но они-то чаще всего и составляют главное в будущем стихотворении. А сознательная часть писания стихов — это уже проверка, не повторяешь ли ты чего.

Один американский поэт очень хорошо сказал: главная проблема профессионального поэта — что делать в остальные двадцать три с половиной часа? У меня этой проблемы нет, поскольку у меня другая профессия — преподаватель. А стихи — это отдельный пласт существования, хотя только в моменты их сочинения я и чувствую себя... ну, пусть не совершенно счастливым, но во всяком случае более равным себе.

— *Вы знаете пример, когда увлеченность автора той или иной идеологией делала его... не скажу «одареннее», но — ярче, энергичнее?*

— Не знаю, я как-то старомодно убежден в самостоятельной ценности таланта. Великим поэтом XX века был в России Борис Слуцкий, который был коммунистом, антикоммунистом так и не стал, мучительно эволюционировал — а писал одинаково блестяще на всех этапах своей жизни, и я многим обязан ему. Первоклассным писателем был Василий Белов, пока не взбесился. На мой взгляд, он лучше Распутина, у которого сюжеты очень уж голливудские. А Лимонов, несмотря на всю свою романтическую революционность, как был прежде всего талантливым бытописателем, автором отличной автобиографической прозы, — так и остался.

— *Почему у вас так мало любовных стихов?*

— Да ведь я очень поздно начал, когда уже любовной лирики почти не пишут. И потом, все мои предки были однолюбы, насколько я знаю родо-

словную. Ну и я такой. Сорок лет женат. То есть у предков обычно было как: сначала краткосрочный брак, как бы пробный, — а потом второй, этот уже долгий, на всю жизнь. Правда, сам я появился на свет именно в результате первого, неудачного, брака моего отца.

— *В стихах у вас постоянно самый большой вопрос — недостаток веры, недоверие, что ли. Вы не продвинулись в этом смысле?*

— Я не верю в личное бессмертие, потому что не могу себе этого представить. Раз, приятно выпивши, мы попрощались с Кублановским на парижской улице, и он, уходя, от полноты чувств крикнул: «Леш, крестись!» Щас! Я не люблю РПЦ за близость к государству. Я не понимаю, что это за христианство, реагирующее с мстительной злобой на инакомыслие и инаковерие. К тому же я предпочитаю умное и образованное духовенство, что в РПЦ редкость. Недавно у меня оказалась брошюра Иоанна Кронштадтского против Льва Толстого. Боже мой, какая бессмысленная злоба! Ни логических, ни теологических аргументов, одни ругательства. Если бы я был христианином, я бы предпочел быть в одном кругу не с чиновными попами, а со Львом Толстым, Владимиром Соловьевым, К.С.Льюисом, Симоной Вейль, Чеславом Милошем, с теми иезуитами, друзьями светлой памяти Ирины Алексеевны Иловайской, которые пришли, когда я, нищий эмигрант, остался в Риме без крова, помогли и исчезли. С моим веселым и добрым православным другом Юзом Алешковским, которого пошлые слова типа «духовность» коробят так же, как меня. Изредка, в хорошую минуту, мне кажется, что я уже

в этом кругу. В жизни постоянно перевешивает то вера, то скепсис, то общее, то индивидуальное, то злое, то доброе в человеческой натуре, и это дает стимул жить и писать.

— *«В снежинках чудная симметрия небытия и бытия».*

— Да, примерно так.

— *Но согласитесь, что твердая вера служит гораздо лучшим стимулом для сочинительства, для деятельности вообще...*

— Так ведь это кому как. Кто у нас твердо верил? Достоевский? Еще неизвестно, что в его случае служило стимулом — твердая вера или безденежье. Толстой вот всю жизнь колебался, а никак не меньше написал. А что касается стимулов для деятельности... Я против слишком бурной деятельности, делать надо то, к чему душа лежит. Это, правда, не универсальный совет, он касается только лично меня.

— *У меня к вам последний вопрос, сугубо бытовой: очень трудно мне представить вас за рулем. Даже после того, как вы меня встретили на машине. Как вы выучились?*

— Да это не так трудно, особенно с автоматическим управлением. Взял девять уроков и сдал на права. Кстати, в Америке для этого не надо знать устройство автомобиля — почему машина ездит. Я до сих пор не знаю. Когда учился, однажды выехал на перекресток, не поглядев по сторонам. Мой инструктор — чистокровный американец — вдруг на чистом русском языке, едва успев ударить по дублирующим тормозам, отчетливо сказал: «Ну е... твою!» — «Откуда вы это знаете?» — «А у меня уже

учился один русский, Джо Бродский». Бродский лихо гонял и в последний раз в жизни попал в кутузку вовсе не в России, а в Америке — загремел в участок за превышение скорости.

2003

— *Хочешь не хочешь, а начинать приходится с американского кризиса: как вы его тут, в Штатах, ощущаете?*

— Я в Штатах 32 года, и за это время как минимум дважды разражались подобные кризисы с неизменными эсхатологическими ожиданиями. За ними, в полном соответствии с Марксом, следовали подъемы — тем более высокие, чем ниже все падало первоначально. Так что я не напуган и, больше того, склонен считать происходящее нормой. Иногда — хоть и не будучи никаким специалистом в экономике — я читаю прорицания местных финансовых кассандр и не нахожу в них никаких намеков на конец света вообще и Америки в частности. «Американская экономика» в нынешнем мире — абсурд, глобализация зашла в финансовой сфере дальше, чем в прочих, и если ждать краха — то всеобщего, а им не пахнет. В повседневной жизни катастрофические изменения не наблюдаются. Трудности — да, через одного-двух: некоторые выпускники колледжей сразу по выпуску не смогут рассчитывать на столь высокие зарплаты, как пару лет назад. Никто не мрет с голоду. Кто-то теряет работу — главным образом брокеры; через некоторое время находят. Антикризисный план выразится, вероятно, в том, что вмешательство государства в экономику дойдет до европейских — немецких,

скажем, — масштабов; но и только. Погодите, погодите с похоронами: мы тут живем в системе саморегулирующейся. Что, может быть, иногда и противно, когда касается лично тебя, но по крайней мере справедливо.

— *Вы за Обаму или Маккейна?*

— Ну, результат предрешен... я не знаю, какое экономическое либо политическое чудо должно случиться, чтобы очевидное сегодня — по всем опросам — преимущество Обамы, замеченное даже в традиционно республиканских штатах, исчезло в последний момент. Разве что американцы врут в опросах, дабы соблюсти политкорректность, а глубоко в душе остаются расистами. Я всегда голосовал за республиканцев, даже среди друзей считался чересчур радикальным — ссорился с ними, например, из-за бомбардировок Югославии, которые я-то одобрял и до сих пор не раскаялся.

— *Позиция действительно экзотическая.*

— Ничего экзотического, это привело к падению Милошевича, а чем меньше в мире тиранов, тем лучше мир, хотя бы на месте тирании возникал кратковременный хаос. Сейчас говорят, что вторжение в Ирак привело к распаду страны, — но если ничто, кроме тирании, да еще такой палаческой, ее не удерживало, то и пусть распадается. Иное дело, что Буш наделал сомнительных шагов помимо иракской войны, и потому Маккейну пришлось стартовать в условиях крайне неблагоприятных. Хорошо, я не против, посмотрим на Обаму — это по крайней мере интересно. И не потому только, что это первый в истории президент с афроамериканской примесью, а потому, что первый президент фактически

без биографии. Ему 46, и о нем известно только, что он чрезвычайно успешный чиновник. Ничего за душой, кроме стремительной карьеры. Посмотрим, как справится. Впрочем, страна так отрегулирована, что при всей важности института президентства от личности зависит не все. Обама, простите за неполиткорректный каламбур, — черный ящик, и вижу я пока только, что перед нами весьма эффектный оратор. Тоже немаловажная вещь.

— *Вы оба раза голосовали за Буша — почему?*

— Только потому, что альтернативы совершенно меня не устраивали. Никаких шансов войти в историю в качестве великого президента у него нет. Задним числом видно, насколько бы Штаты выиграли, если бы мощные республиканские кланы проявили благоразумие и поставили восемь лет назад не на Буша — который, прямо скажем, мало соответствует занимаемой должности, — а на чрезвычайно опытного и прагматичного Маккейна. Но сейчас — поздно.

— *Интересно, как сейчас Россия выглядит отсюда.*

— На моей американской памяти случился серьезный сдвиг — место России в сознании Америки значительно уменьшилось, отодвинулось от центра и, что ли, провинциализировалось. Я приехал в разгар холодной войны, Россия была действующим лицом номер один, а сейчас... она стала не то что маргинальной, но — одной из многих. Не такой страшной, как Иран, не вызывающей такого почтения, как Китай, не такой безумной, как Северная Корея... Так — что-то вроде Бразилии; даже Венесуэла вследствие очевидной ошалелости Чавеса вызывает большее любопытство. Что каса-

ется моего ощущения от нее — оно странным образом совпадает с чувствами набоковского Годунова-Чердынцева, который листает советскую прессу и удивляется, как все там, на Родине, стало серо, малоинтересно. Было так празднично, подумайте! Действительно, сравнить Россию двадцатых-тридцатых с Россией начала века, когда Куприн считался писателем второго ряда... в то время, как в Штатах был сверхпопулярен проигрывающий ему по всем параметрам Джек Лондон... И вдруг — страшная серость, полное падение, непонятно, куда все делось, не в эмиграцию же уехало... Несвобода быстро ведет в провинцию духа, на окраины мира; сегодня в России, насколько я могу судить, все усугубляется тем, что страна как бы зависла. Вперед не пустили, назад страшно и не хочется — происходит топтание в пустоте, занятие бесперспективное. Что-то сравнимое учинил над Россией Николай Павлович, одна из самых отвратительных для меня фигур в российской истории...

— *Он теперь широко реабилитируется.*

— Это естественно, потому что сходства налицо — кажущаяся бескровность, не считая расправы с декабристами, но при этом исключительно противная атмосфера, удушливость, чувство бесперспективности, тупика и безвоздушия; за волосы схватил страну и отбросил лет на тридцать назад, после чего и освобождение крестьян не могло уже ничего изменить — все сгнило под этой коркой. И та же вымороженная культура тридцатых-сороковых после сказочного послевоенного взлета.

— *Вы лучше многих знали Бродского и постоянно о нем пишете: как, по-вашему, русская поэзия вы-*

бралась из-под его влияния или пока остается в его тени?

— Будь она под его влиянием, это было бы чудесно: она была бы темпераментна, разнообразна, интеллектуальна... Но это не влияние, а воровство: интонации, лексики, реалий. Читая эти бесчисленные и неотличимые сочинения, я чувствую Бродского именно обворованным. Насколько сейчас кончилась эта мода и началась другая — трудно сказать: допустим, вместо дольников Бродского распространилось писание без знаков препинания. Я сам иногда так делаю, когда хочу, например, передать спутанность сна, — но в большинстве подобных упражнений цель другая: заставить читателя мысленно расставлять запятые. Я не совсем понимаю, зачем это нужно.

— *Вы принадлежали с питерских времен к кружку абсурдистов, иронистов — и не можете не признать, что эта традиция не приживается, не становится по-настоящему популярна в России: здесь от стихов требуется пафос. Иначе такие ваши друзья, как Владимир Уфлянд, давно бы заняли подобающее им место...*

— Как раз русской народной поэзии абсурд и насмешка всегда были присущи, это видно в частушке, лубке, сказке и где угодно. Это форма протеста против тоски, однообразия, жестокости власти, в этом есть милосердие и даже сентиментальность, если хотите. Я никогда не любил абсурда ради абсурда и вообще со временем пришел к выводу, — очень оригинальному, кажется, — что если гротеск не смешон, то он и не читается. Я понял, что к так называемому настоящему абсурдизму отношусь довольно

сдержанно и что детские стихи Хармса значат для меня гораздо больше, чем взрослые и даже его столь популярная сегодня проза. У меня есть в Петербурге старинный друг Владимир Герасимов — он-то и сформулировал, что абсурд без комизма неинтересен. Есть фундаментальные и элементарные требования, отказ от которых мгновенно уничтожает литературу: если искусство не ориентировано на пробуждение тех самых, многократно осмеянных человеческих чувств — оно остается ужасно скучным; если проза не рассказывает историю и не лепит характер — она может быть сколь угодно изобретательной, но ее приходится в себя заталкивать. Я недавно, лежа в больнице, решил заполнить разные пробелы в образовании и почитать давно мне расхваленного Сигизмунда Кржижановского: кажется, это интересно, лихо придумано, но совсем мертво. Большая часть современной прозы производит именно такое впечатление; увы, это касается в последние годы даже нобелиатов. Видно, что текст пишется из желания написать текст, и только.

— *А кому бы вы дали Нобеля?*

— Думаю, по совокупности заслуг — и главным образом за лучший русский роман семидесятых — эту премию давно заслужил Фазиль Искандер.

— *Что вы вкладываете в понятие «петербургский характер»?*

— Ну, если говорить о себе, — это прежде всего скромность, благородство, чувство собственного достоинства, открытость мировой культуре, величие духа...

— *Это вы демонстрируете главную черту питерского характера — насмешливость.*

— Автоиронию, да. Ну, это как раз объяснимо. В петербургском пейзаже, на его фоне, трудно воспринимать себя чересчур всерьез — как-то понимаешь свое место.

— *А экспансия петербургского характера во власть не заставила вас пересмотреть свое отношение к нему?*

— Ну, помилуйте, разве это петербургская экспансия? На этих людей гораздо большее влияние оказала их принадлежность к известной службе, это клеймо будет посерьезнее происхождения. Говорили, скажем, о принадлежности бывшего главы наркоконтроля к питерской интеллигенции — но что у него общего с этой интеллигенцией, кроме того, что он ее допрашивал и вообще разнообразно мучил? Вообще мне кажется, что у них всех было трудное детство. Отсюда их совершенно непропорциональная мстительность, желание не просто расправиться, а растоптать, вытереть ноги — черта людей, глубоко сознающих свою слабость. Сильные не мелочатся. Сильные не выдумывают себе враждебного окружения и не видят в каждом встречном скрытого врага. Петербург даже ленинградского периода был космополитическим, европейским городом — в самом его воздухе была растворена Европа; отсюда видно, что никак на них этот город не повлиял, к сожалению.

— *У вас редкая биография для поэта — в чем преимущество моногамии, скажем?*

— Да черт его знает, я не бывал в чужой шкуре и не знаю, в чем преимущества моего опыта. Ежели его абсолютизировать, получится, что поэту лучше сильно влюбляться единственный раз, преподавать

в университете и начинать систематическую литературную деятельность в 38 лет... причем последнее, кажется, действительно неплохо, потому что в молодости пишешь из тщеславия, а в зрелости и старости — уже исключительно для себя. Но в том и прелесть лирики, что для нее годится любое топливо — поэтом может быть и бретер Давыдов, и успешный помещик Фет, и раздолбай Есенин, и порядочный негодяй Рембо, и безнравственный — по крайней мере не слишком порядочный с женщинами — Павел Васильев, и чудесный человек Сапгир, и непростой человек Лимонов... Лирика получается из всего и анкету с автора не требует.

— *Вы много лет преподаете — американский студент, о чьем невежестве у вас были иронические стихи, изменился как-то?*

— Да я не сказал бы, что американский студент как-то принципиально невежественнее любого другого. Америка считает образование одной из главных своих проблем, но оно, ей-богу, не так плохо. Все эти анекдотические истории — что американцы не знают, кто такой Гитлер, — базируются на простом отличии американской системы просвещения: она во многом реформирована педагогом и мыслителем Джоном Дьюи, а он полагал важным не пичкать студента информацией (чем непрерывно занималось советское образование), а дать ему аналитический навык. То есть научить добывать эту информацию самому. В результате американский студент кажется куда более невежественным — а оказывается куда более обучаемым: тот, кто пришел ко мне в колледж с нулевыми представлениями о русской литературе, через пять лет уходит специалистом, потому что аме-

риканский студент, серьезно заинтересовавшийся чем-либо, эффективней европейского в разы.

— *Вам ведь на будущий год предстоит пенсия?*

— Я мог бы преподавать и дальше, как делают многие, — до восьмидесяти лет. Чего ж, дело непыльное, курс знаешь наизусть, можешь с закрытыми глазами его отбарабанить... Но в какой-то момент это становится рутиной, и мне хочется, что ли, заключить определенный период. Иначе есть риск, как сказано в любимом моем «Пнине» Набокова, перестать замечать присутствие студентов. Я хочу переключиться на другие занятия — главным образом мемуары.

— *А стихи?*

— Стихов все меньше, но если они пишутся — то, как правило, по утрам, между сном и явью, и весь день меня потом сопровождает ощущение удачи. Которого не дает никакой другой вид деятельности — ни преподавание, ни проза.

— *Я задам вам странный вопрос: в чем смысл российской исторической судьбы, коль скоро мы все время совершаем рывки на Запад и застываем на полдороге, и повторяемся, и топчемся? В чем предназначение страны, снова и снова проживающей одну и ту же модель?*

— Я не надеюсь уловить смысл истории. Он есть, безусловно, но не с нашими возможностями его улавливать. У Солженицына есть в «Августе Четырнадцатого» замечательная сцена — Саня Лаженицын с приятелем знакомятся в московской пивной с философом Варсонофьевым. Этот Варсонофьев говорит им: «История, друзья мои, должна быть загадочна». А о предназначениях су-

дить не нам. Это все конструкты девятнадцатого века, вполне уместные: исторические циклы, национальные идеи... от Данилевского до Шпенглера или Тойнби... Все это забавно и даже полезно, но больше всего похоже на попытки накинуть хомут на какое-то невидимое, невообразимо огромное животное. Пусть будет что будет, а зачем оно все — не наш вопрос.

Кстати, в этой сцене есть и еще одно замечание, неожиданное для Солженицына: пиво в этой ресторации было «не слишком холодным». Сейчас его все перемораживают, а тогда не чувствуется вкус. Замечание, избобличающее знатока.

— *Вы 32 года не были в Петербурге — можете себя там представить?*

— Нет. Был такой петербургский поэт Агнивцев — он потом все-таки вернулся и сгинул, — так вот, у него были стихи о том, что он не может прочесть ни одной надписи на Невском. Буквы знакомые, а язык чужой. «По-болгарски, что ли?» Так вот, для меня теперь все было бы — по-болгарски. Я на фотографиях даже знакомые места не узнаю. И потом, сейчас исчезло даже мандельштамовское — «Ленинград, у меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса». Этих адресов уже почти нет.

— *Ваша диссертация называлась «О пользе цензуры». Где кончается ее польза и начинается губительность?*

— Там, где ее не обойдешь. Это самоочевидно. Мы знаем огромные пласты погубленной литературы — но знаем и странную благотворность ее влияния: кем был бы Салтыков-Щедрин без цен-

зуры? Куда более плоским гражданским автором... Цензура, да и любая гадость, хороши до тех пор, пока дают возможность с ними бороться и тем улучшаться; когда перекрывается воздух — исчезает всякая благотворность.

— *Напоследок: на чьей вы стороне в вечном споре о нормальности и ненормальности писателя? О неизбежности легкого сдвига по фазе при занятиях литературой?*

— Для большой литературы нужна, конечно, некоторая маниакальность. Абсолютная вера в плоды собственного воображения.

— *То есть и вы...*

— Нет, я-то нормальный. Или по крайней мере успешно мимикрирующий.

Ирина Муравьева

У нашего зрителя Ирина Муравьева ассоциируется с праздником, и наоборот.

По итогам опроса, кого читатели «Собеседника» желали бы видеть гостем новогоднего номера, Муравьева победила с хорошим отрывом. Это я и сказал ей прежде всего, склоняя на интервью. Вообще я очень не люблю отечественных звезд, отказывающихся от встреч с журналистами при посредстве стандартной формулы «Не лезьте мне в душу»: когда, сломив кокетливое сопротивление, в душу все-таки проникаешь, — почти всегда оказывается, что без противогаза туда лучше было не соваться. Случай Муравьевой — принципиально иной, о чем я и хочу предупредить сразу. Она человек прямой и честный, беспокоящийся о точности своих формулировок и их передачи. Во время разговора она глядит на вас большими серыми глазами очень прямо. За ее резкостью угадывается большая усталость от чужого вранья. Со своей сквозной героиней — многословной, суетливой, неунывающей — она имеет мало общего.

— Я пытаюсь вспомнить, когда вас первый раз видел на сцене. Был такой спектакль, по болгарской сказке, вы играли девушку... Тронку, кажется...

— Бонку. Это спектакль Центрального детского театра, семьдесят второй год. Смотрите, как вас

зацепило! Не зря я старалась. Я тогда, выходя на поклоны, всякий раз думала: пионэры! запомните меня!

— *Господи, семьдесят второй год... Какая древность!*

— Это вы обо мне? Спасибо.

— *Да нет, о себе... Вы, говорят, в новом фильме снимаетесь?*

— Это будет российский сериал про женщину-брошенку, было раньше такое слово.

— *И сейчас есть.*

— Сейчас оно устарело. Брошенка — это там я. Как всегда, есть подруга, советующая суетиться, устраиваться, вписываться в новую жизнь... А потом вдруг раздается звонок в дверь, и счастье приходит само.

— *Знаете, меня всегда смущала эта вилка между вами и большинством ваших героинь. Они всегда одиночки, брошенки, разведенки, бешено пытающиеся устроить свою жизнь. В то время как ваша личная биография вполне идиллична...*

— Да, сама удивляюсь. Сегодня ровно двадцать шесть лет с того дня, как я услышала наконец предложение от единственного мужа, с которым живу по сию пору. Он режиссер, как раз и поставил тот спектакль про Бонку, после которого мы поженились. Сейчас я вам это противоречие объясню. Все эти истории — про то, что не надо суетиться, все придет само. Я вот думала: эта женщина моя в «Москва слезам не верит» — она что, так уж хуже алентовской героини? А у Алентовой счастье явилось само, в электричке, — что называется, пришло и село. Несправедливость. Или в «Самой обаятель-

ной и привлекательной», когда героиня мечется, красится, меняется, — а счастье работает за соседним кульманом. Это очень русская мораль: не надо шустрить. Надо заниматься собой, и тогда рано или поздно все твое упадет тебе в руки. Как, собственно, и происходило со мной.

— Ну, а в «Карнавале»? Там эта девочка как раз бешено цепляется за Москву, за театр, за карьеру...

— Нет, там другое. Там она все время работает над собой, докапывается до себя. Это нормально, здесь можно напрячься.

— Кстати, героини ваши всю жизнь буквально охотятся на мужчин. Это нормально?

— В каком смысле?

— В смысле должна ли женщина быть выбираема? Или может выбирать самостоятельно, как говорят современные феминистки?

— Нет, конечно, я думаю, что нас выбирают. Это мужское дело — завоевывать женщину, и получается уродство, когда наоборот. Феминизм — я никогда не хочу задеть лично, потому что не знакома ни с одной феминисткой, — по-моему, компенсация комплексов каких-то, это все от неполноценности. Быть замужем — значит быть за мужем. Я никогда ничего не решаю и никому не диктую.

— И режиссера слушаетесь?

— Конечно. Я его слушаю с открытым ртом, будучи по природе ведомой.

— Даже если он младше вас?

— А если младше, я его особенно боюсь. Потому что он не видел того, что видела я, и весь мой опыт для него ничего не значит. Я же застала совсем другой театр, которого больше нет.

— *Кстати, среди театральных актеров считается хорошим тоном ругать кино. Театр — искусство, кино — ремесло...*

— Ну, не знаю, от кого вы это услышали. Другое дело, что Питер Брук, кажется, или еще кто-то из западных больших режиссеров сказал: плохой актер может хорошо сыграть в кино. То есть хорошо там выглядеть, точнее. Но на сцене, в ансамбле, недостаток таланта вылезет всегда, потому что театр — более живое дело. Если нет контакта с партнером, с залом — все пропало.

— *Зритель вас полюбил за те фильмы, которые сейчас особенно охотно показывают по праздникам. Их и тогда крутили на какое-нибудь седьмое ноября: все собрались за столом, студень, винегрет, глава семейства позволил себе сто грамм, и тут пошло наше кино. Лирическая комедия. Вам не кажется сейчас ужасно пошлым и то время, и тот зритель, и даже тот кинематограф?*

— Время было не столько пошло, сколько серо, скучно... во всяком случае, по сравнению с нашими ожиданиями. Когда мы заканчивали школу, не было сегодняшнего вопроса — как выжить, как не оказаться на улице... Я, например, задавалась вопросом: как мне послужить людям? Как мне, при моих способностях, принести максимум пользы? Вы смеетесь, а ведь над этим смеяться грешно.

— *Я же не над вами!*

— А все равно! Это был не худший вариант. И вот после этого я, желая делать что-то серьезное, возвышать и просвещать, — играю какую-то развлекуху. Было время, когда я ненавидела эти фильмы, когда слова «обаятельная и привлека-

тельная» вызывали у меня такой стыд, что я краснела не только лицом, но, кажется, всем телом. И в конце восьмидесятых у меня был серьезный кризис, я стала отказываться от ролей, потому что хотела другого. Хотела хоть раз попасть в серьезное, авторское кино, — потому что невозможно же продолжать в прежнем духе, когда явился, например, Сокуров! А потом деньги стали стремительно таять, инфляция съедала заработки за день, дети растут, — я стала соглашаться на предложения. Честно говоря, я надеялась, что никто этих фильмов не увидит: тогда был пик всеобщего отмывания денег, и кино снимали люди, которые в принципе никогда, ни при каких обстоятельствах не должны этого делать... Тогда показывали сценарий и сразу же — на пальцах — толщину денежной пачки, которую выдадут в качестве гонорара. И я снялась в нескольких фильмах, как другой человек стал бы мыть машину: пряча лицо, надеясь, что никто из знакомых не заметит... К сожалению, эти фильмы вышли, и кто-то их видел. Так что ни один наш позор не остается незамеченным.

Ну вот, и после всего этого — и после кризиса авторского кино, которое в массе своей оказалось очень скучным и претенциозным, — мне случилось пересмотреть ненавидимую когда-то «Обаятельную и привлекательную». Вы знаете, ничего. Даже мило. Я думаю, пусть будет. Пусть развлекает людей, дает им посильную отдушину. Тем более что зрители, о которых вы говорите, в массе своей были вовсе не так примитивны. Это был настоящий средний класс, который, кстати, потому и не вписался в ны-

нешние перемены, что не склонен суетливо выживать и поспешно меняться. Если я кого-то из них развеселила — от души благодарю.

И потом, я смотрю сейчас то кино уже не просто как кино, но как свидетельство. Тогда же снимали не бесконечные искусственные конструкции, не умозрения, а жизнь, какой она была. Иногда она случайно попадала в кадр — какая-то улица, какой-то завод... Мне, кстати, сейчас и производственная драма была бы интереснее, чем фильм из жизни киллера.

— *Правильно, потому что в производственной драме есть свои законы, правила игры. А киллер лунит в белый свет...*

— Да. Не говоря уже о том, что раньше на профессионализм как-то не обращали внимания: хороший монтаж или звук подразумевались сами собой. Теперь и на это смотришь с умилением.

— *Скажите наконец правду: когда делалась «Москва слезам не верит», пародия на советский китч имела в виду или угадывается только теперь, задним числом? Потому что Черных утверждает, что с самого начала писал пародийную историю, заведомо нереальную.*

— Меньшов человек очень непростой, очень далеко заглядывающий. Мы страшно веселились на съемках, к середине их я уж начала сомневаться, получится ли что-то вообще, — столько было веселья. В результате Меньшов точно рассчитал эффект. Кстати, тогда он каждый день очень торопился закончить съемки к началу программы «Время». Помню, я над ним хохотала: ну кем надо быть,

чтобы каждый день смотреть, как двое манекенов рассказывают: завод такой-то отлил то-то... тогда все отливали, если помните... А теперь выясняется, что Меньшов осенью запустился с новой картиной «Зависть богов», как раз про диктора программы «Время». Представляете? Это он в то время понимал, что когда-нибудь все это превратится в умиленное ретро, и копил материал, загадывая на двадцать лет вперед! Да кто бы мог подумать, что та жизнь вообще кончится!

— *А вы не думали?*

— Я? Никогда. Мне казалось, что это все незбылемо, что Ленин так и будет... вечно живой.

— *Не любите вы Ленина.*

— А вы любите?

— *Идеальный политик, по-моему. Чистый прагматик. Положил свою жизнь, можно сказать, на алтарь борьбы и никогда не был счастлив.*

— Так это все можно и про Гитлера сказать. Они все были несчастны. Если бы это еще оправдывало кого-нибудь!

— *Вы вообще политику не любите?*

— Не люблю и не понимаю совсем.

— *Что ж, и на выборы не пойдете?*

— Не-а. Из кого выбирать, если все одинаковые...

— *Слушайте, а почему вам никогда не пришлось сыграть стерву? Все время приличные такие женщины, добрые, в крайнем случае взбалмошные...*

— А мне нельзя играть стерв, я от этого больна делаюсь. Была пьеса Леонида Зорина «Максим в конце тысячелетия». Ничего не имею против пьесы,

и автор замечательный, но вот мне дали там играть образцовую стерву, коммунистку такую упертую, — и я заболела за три дня до спектакля, а уж после вообще лежала пластом. Мне с отрицательными героинями связываться противопоказано.

— *Вообще вы всегда выглядите умнее своих этих баб замечательных. Почему вам никогда не дали сыграть умную, трезвую селф-мейд-вумен? По-моему, вполне ваш типаж...*

— Бессмысленный вопрос совершенно. Что значит — не дали? Есть ампула, я им довольна и, кажется, честно в нем работала. Одна девочка, желая меня уязвить, надменно спросила: ну что ж вы — все служанок играете? королев не дают? Она думала, что я страшно обижусь. Но мы же не в детском саду, когда можно реветь перед утренником: королеву не дали, опять служанку-у-у... Профессия есть профессия.

— *И тем не менее, в театре у вас сейчас сплошь классические роли: Гурмыжская, Аркадина, Раневская... Неужели зритель способен еще воспринимать «Волков и овец» как живую пьесу? По-моему, все это сейчас совершенно музейное искусство. Особенно в Малом.*

— Ничего подобного. Вы спектакли видели?

— *Ну видел, видел... Я же должен вас немного провоцировать!*

— А, это у вас — как это? — журналистский прием? Хорошо, я сейчас разгорячусь и живоотреагирую. Если же серьезно, эти вещи могли восприниматься как музейные лет двадцать назад, когда слова «вексель» или «банкрот» залу ничего не говорили. Сегодня как раз зритель реагирует очень живо, мно-

гие спрашивают, не дописали ли мы реплики для новой редакции спектакля: настолько все современно. Нет, не дописали. Сейчас самое время смотреть «Волков и овец», потому что все опять разделились на волков и овец, третьего не дано.

— *Почему же? Вы, например, не волк и не овца...*

— С точки зрения настоящего волка я безусловная овца. Что и играю в этой роли. Или возьмите «Вишневый сад» — самая, наверное, актуальная пьеса текущего репертуара. Пришла новая жизнь. То есть старая уже кончилась, а правила новой еще не устоялись, они непонятны. И далеко не все могут и хотят в них вписываться.

— *И вы с сочувствием играете Раневскую? Довольно, в общем, гнусную бабенку, которая думает только о парижском любовнике, пока сад с молотка идет?*

— Сад идет с молотка потому, что она не хочет продавать его под дачные участки и деревья рубить. И уверяю вас, она уедет к этому любовнику и будет счастлива с ним без сада, потому что лучше все бросить, чем приноравливаться. Для нее, по крайней мере.

Я скажу вам страшную вещь: для меня все чеховские герои очень долго были на одно лицо. Пока не стала играть в его вещах, путала Треплева с Тузенбахом, не помнила — кто откуда. Можно очень не любить чеховские пьесы, но есть таинственная закономерность: играя их, становишься лучше. Не как актер — как человек. Это вам любой артист подтвердит.

— *А по-моему, он был брюзга и человеконенавистник.*

— Бывает, что и так кажется. Но вам стоит начать его играть, и вы делаетесь милосерднее. Загадка.

— *Мы встречаемся в канун Нового года. Есть люди, ненавидящие этот праздник: бессонная ночь, утром тоска, еще один год прожили...*

— Нет, в детстве это был главный праздник. Мама пекла удивительные пироги, мы с сестрой помогали, все готовились, и я каждый Новый год думала, что начинается новая жизнь. И все представляла, как я всё, всё начну по-новому! Сейчас ничего подобного нет, конечно. Хотя на Новый год я все равно поеду к папе с мамой, все мы соберемся... Но дети уже уходят праздновать в гости. Я в детстве не понимала, как это можно отпраздновать Новый год не дома. Сейчас гляжу — и мои оба убегают, и племянница уходит... А без них не то, все не то. И новой жизни, конечно, не хочу никакой. Ее и не бывает.

— *У вас оба мальчики?*

— Да. Старший закончил школу, младший — еще нет.

— *Вы их к театральной карьере не подталкиваете?*

— Никуда не подталкиваю. Правда, старший снялся в роли моего сына в фильме «Эта женщина в окне». Я себе там не нравлюсь.

— *А по-моему, очень милое кино как раз.*

— Тоже муж снял.

— *Интересно, вы к детям строги?*

— Думаю, да.

— *А надо ли? Я вот хорошо учился, но учили такой ерунде, которая мне не пригодилась ни разу.*

— Надо, надо. Выучиться можно всему, но самодисциплина — вещь нелишняя.

— Ну ладно, никакого особенного праздника вы на Новый год не ждете. Но разве вас не приводят в трепет эти три нуля?

— Знаете, не приводят. Столько всего уже должно было состояться в двухтысячном году, что когда он наконец пришел, никакого ощущения новой эры не осталось. Сначала нам в школе объясняли, что в двухтысячном году будем жить при коммунизме. Никто не понимал, как это — не будет денег. Что, сколько хочешь можно будет брать? Да, сознательность станет такова, что человек придет в магазин, отрежет себе хлеба сколько надо... Мы думали: как интересно будет жить при коммунизме! Потом я играла в ЦДТ первую свою роль, меня сразу на нее ввели, как я туда пришла, — в пьесе Михалкова, которая так и называлась: «2001 год». Я была пионер, Федя Дружинин. Он командует детским космическим экипажем, — Михалков полагал, что в две тысячи первом году у нас дети в космос полетят. Я была мальчик серьезный, вдумчивый, с большими проблемами, напряженной внутренней жизнью... Ответить на все вопросы и исправить свои недостатки мне помогал старенький положительный космонавт. Что еще должно было случиться в двухтысячном? Всем квартиры отдельные... Короче, магия трех нулей не действует на меня. Потому что и так уже действовала на всех слишком долго.

— А коммунизма не будет?

— Никогда. Ни в двухтысячном, — ни-ког-да.

— Я все время хочу вам задать вопрос, который вообще главнее всего, о чем тут говорилось. Мне кажется, для сильной и трезвой женщины вашего типа религия не должна играть большой роли...

— С чего вы взяли? Слушать смешно...

— *Вы опираетесь на себя, по-моему. Не думаю, что женщина вашего склада может верить в загробную жизнь.*

— Ну, на эту тему я не буду беседовать даже с «Собеседником». Вера — такая вещь, о которой не говорят в интервью. Одно вам скажу: этот вопрос действительно неизмеримо важнее всего, о чем мы сейчас с вами говорили. Кроме него, ничто не имеет значения.

— *Кажется, я понял. Но разве вы не склонны уважать атеистов? У которых нет ни надежды на воздаяние, ни страха возмездия, ни стимула делать добро?*

— Материализм — ужасная чушь. Сострадать материалисту, так безмерно обеднившему свою жизнь, я могу, уважать — нет.

— *Следовательно, спрашивать вас об ожиданиях, связанных с годом дракона, вообще бессмысленно...*

— Ну мы же с вами православные! Какой японский календарь, какой дракон?

— *Вы же понимаете, что это игра такая...*

— Я так не играю.

— *Но по крайней мере елку вы планируете наряжать?*

— Это — всегда.

— *Искусственную?*

— Настоящую.

— *Да ведь сыплется настоящая-то...*

— Если выбрать хорошую — ничто не сыплется.

— *Хорошо, Ирина Вадимовна. Завтра я вам представлю текст на визу.*

— Вообще, знаете, я вас боюсь. Вы с вашими журналистскими провокациями можете такого там

написать... Так что будьте готовы к тому, что я могу завернуть все. И тогда получится, что вы полтора часа провели впустую.

— *Уже не впустую. Кстати, а вам ведь сейчас гримироваться, да? Я тогда пойду...*

— Да, сейчас раскрашусь. Лицо я всегда гримирую сама, рисую так называемый «грим второй молодости». Потом парик... Правда, не знаю, как он на меня влезет, — постриглась только.

— *А вы сейчас своего естественного цвета?*

— Да, светло-рыжая.

— *Как же я вас завтра поймаю... Вы в одиннадцать утра не спите?*

— Я в восемь встаю каждый день.

— *Может, я факс дам? Чем возить-то?*

— Нет у меня факса, нет. Только фейс.

Булат Окуджава

Это мое третье и последнее интервью с Окуджавой. Оно взято по телефону — его лечили от эмфиземы препаратом, ослаблявшим иммунитет.

— *Булат Шалвович, вам не кажется, что, столь откровенно иронизируя над собой, вы несколько принижаете собственный образ как романтического поэта?*

— Никогда об этом не думал. Я в молодости относился к себе без насмешки, был весьма тщеславен, но жизнь сделала свое дело, сумев посмеяться надо мной.

— *Кстати, в последних ваших стихах много ужаса перед старостью. Вы не находите преимуществ в своем нынешнем возрасте?*

— Преимущества нашлись, ужас остался.

— *И что за преимущества?*

— Думаю, главным образом способность не обольщаться.

— *А вам не кажется, что обольщения здорово способствуют творчеству и вообще полезны?*

— О да, когда я, засучив рукава, работаю, я совершенно искренне считаю себя гением. И без этого чувства вряд ли сдвинулся бы с места. Но стоит мне перечесть только что написанную вещь, и я снова способен взглянуть на себя трезво.

— В «Анекдотах» достоверно почти все, но в одно я, извините, не поверю — в вашу переписку со шведской королевой...

— И правильно делаете, что не верите. Это же не автобиография, а анекдот, устный жанр, так что я вправе кое-что досочинить. Я действительно стоял в Стокгольме на улице и вдруг увидел, что едет королевский кортеж. Неожиданно для себя самого я испытал очень теплое чувство, и мне показалось, что королева на меня даже взглянула... И я позволил себе помечтать: вот я прихожу в гостиницу и пишу ей письмо. «Ваше Величество, я не монархист, но я очень рад Вас видеть, и мне кажется, что Вы два раза милостиво посмотрели в мою сторону. С почтением такой-то». Тут же мне представился ее ответ: «Милостивый государь, я тоже Вас заметила и действительно посмотрела в Вашу сторону. На всей улице Вы один не сняли шляпу».

— *Интересно, а про мышку — правда?*

— Да, с мышкой действительно была такая история. Я жил один в Переделкине и заметил, что вместе со мной посмотреть телевизор выходит мышка. Я никогда мышей особенно не любил, но тут мы с ней друг к другу привязались, и я очень горевал, когда она попала в мышеловку.

— *Вы, вероятно, трудно переносите одиночество?*

— Нет, напротив. В юности я был компанейский человек, а потом все больше стал предпочитать уединение. Вот сейчас, например, я тоже один, потому что лечу бронхи, и от этих лекарств у меня как-то снижается сопротивляемость, я становлюсь более восприимчив к инфекции... Жена

заболела гриппом и, оберегая меня от вируса, переехала к сыну. Но у меня хватает дел, и я вполне нормально чувствую себя в этом уединении: минут на пятнадцать выхожу потоптаться во двор, вспоминаю, читаю, готовлю...

— *Готовите?!*

— Я очень люблю это дело и хорошо умею. Не забывайте, я ведь кавказец. С молодости люблю...

— *Не представляю, когда вам в молодости было этому учиться.*

— До войны — бабушка, после войны — тетя. Ничего сложного я, конечно, не делаю, зато уж то, за что берусь, готовлю как следует. Я очень не люблю неприхотливых людей. Наше пресловутое долготерпение, которым принято восхищаться, — это тоже неприхотливость. А я не таков. Я многое прошел и умею терпеть. Но если я пью чай, это должен быть хороший чай. Или надо честно наливать себе воды.

— *Вы называете себя кавказцем. Что-нибудь еще восточное есть в вашем характере?*

— Я наполовину грузин, наполовину армянин. И оттого во мне сочетаются две страсти: грузинская царственная лень, уважение к себе — с упрямством и работоспособностью армянина.

— *Лень?*

— Это не любовь к безделью, не страх работы, но некое сибаритство, пристрастие к комфорту.

— *А разочарования в кавказском характере у вас нет? Вот грузинская катастрофа, например...*

— Это не грузинский характер виноват, а советская наша школа, из которой мы все вышли. Все мы ждем распоряжения барина, обожествляем

власть и не уважаем личность. Впрочем, неуважение к личности — болезнь российская, исконная, застарелая.

— *Недавно, заметил я, у вас появился автоответчик. Почему вдруг? И как он меняет вашу жизнь?*

— Автоответчик подарили японцы, мы его поставили, но я очень редко включаю его и почти всегда забываю прослушать. У меня очень сложные отношения с техникой. В доме ее полно, потому что, когда появлялась такая возможность, я ее покупал за границей, содрогаясь от страсти. Однажды купил видеокамеру и к ней этот... Господи... ну, во что вставляют кассету...

— *Видак?*

— Его. Привез, и в течение двух недель мы всей семьей пылко эксплуатировали камеру: снимали пришедшего к нам почтальона, снимали Москву с тринадцатого этажа... Очень скоро нам это надоело, с тех пор она и пылится. Никогда не забуду, как лет десять назад Володя Войнович меня в Мюнхене обучал работать на компьютере.

— *И как?*

— Глухо.

— *То есть вы обходитесь машинкой?*

— Я обхожусь пером и бумагой, причем люблю чернильные ручки. Перепечатаваю на машинке только готовую вещь, и машинка самая обыкновенная, старая.

— *У вас много стихов и песен о вашей гитаре, а что за гитара, часто ли вы их меняете?*

— В молодости мне показали три аккорда, показали, как строить, — кстати, больше так никто не строит, так что настраиваю я всегда сам, — и я ку-

пил семиструнку. Обычную, дешевую. Гитары периодически терялись, ломались, забывались в гостях и так далее. Покупались новые, — как сейчас помню, они стоили по семь с полтиной. Я никогда об этом всерьез не заботился, потому что к игре относился как к хобби. И только лет двадцать назад в Америке мне подарили мою нынешнюю гитару, с металлическими струнами. Я ведь всегда играл на нейлоновых, а тут все гораздо ярче звучало. Так эта гитара у меня сейчас и лежит — временно без движения, потому что я сейчас не пою.

— *Вам приятно петь?*

— Чаще всего это зависит от реакции аудитории. А где-то с начала восьмидесятых это мне трудно, так что особой радости не доставляет.

— *У вас есть какие-то наблюдения: почему одну вещь подхватывают и поют, а другая при всех своих достоинствах остается неоцененной?*

— Тут есть секрет, которого я сформулировать не могу и который, наверное, проще всего было бы объяснить на примере фольклора. Я в молодости с удовольствием пел народные песни, люблю их и сейчас, — вот они все должны быть с секретом, потому что в фольклоре выживает только то, что поется. У меня бывали случаи, когда на интересные стихи придумывалась прихотливая мелодия, а никто этого потом не пел. А иногда я сочинял стихи и музыку за десять минут — так было с «Ленькой Королевым», — и вещь немедленно подхватывалась. Какие-то песни нравились мне самому, но их трудно исполнять, — например, «Вилковские фантазии» или «Почтальон»...

— *А какая поется труднее всего?*

— В смысле вокала, если это можно так назвать, — наверное, «Песня о молодом гусаре».

— *Интересно, как вы относитесь к ностальгической волне, захлестывающей телевидение? Ко всякого рода «Старым песням о главном»?*

— Ну, сам я не слишком ностальгирующий человек и слушал в те времена другую музыку... но если это кому-то напоминает лучшие годы — почему нет? Ностальгия — не самая большая беда, меня тревожит другое. Это засилье ресторанной культуры. Я понимаю, что в ресторане «Онегина» не слушают, но всякому жанру свое место. Кроме того, меня сильно раздражает слово «звезда», применяющееся сейчас к чему попало.

Вообще говоря, замысел мне понятен: всякого рода притопы, если эти притопы становятся перманентны и повсеместны, позволяют очень хорошо успокоить население и превратить его в толпу идиотов, а с толпой идиотов можно делать что угодно — они не будут ни сопротивляться, ни задумываться... Но и при исполнении этого замысла должен, мне кажется, быть какой-то предел. Потому что более стремительной деградации всего я не припомню.

— *Что вы читаете, какую музыку слушаете?*

— Мои музыкальные вкусы старомодны: Бетховен, Моцарт, Шуберт, Рахманинов, отчасти Прокофьев. Читаю я тоже в основном старые книги. Сейчас — неожиданно для себя — Алданова. Когда-то я прочел его и поставил на полку, ничего особенного не почувствовав. А сейчас стал перечитывать — и как будто скучновато, но оторваться невозможно.

— *А что из своего вы любите больше всего?*

— Из песен и стихов — всякий раз разное. Из прозы — «Свидание с Бонапартом», по совпадению замысла и воплощения. Хотя в читательском мнении больше повезло «Путешествию дилетантов», потому что это любовная история...

— *В «Свидании» есть интересные фантастические допущения: например, герой, которого как бы преследует Наполеон. Он в Россию — и Наполеон за ним... И пока его не убили, французов не могли остановить.*

— Это, кстати, совсем не фантастическое допущение. Я наткнулся в архивах на совершенно реальное письмо, где человек рассказывает о своих метаниях по Европе: куда бы он ни бросился, Наполеон его преследовал и настигал. И теперь он надеется спрятаться в России. Ничего о дальнейшей судьбе этого героя мне не известно, но он так меня поразил, что я ввел его в роман.

— *Вы много болели в прошлом году, почти одновременно с Ельциным. Вам не кажется, что ему при его состоянии здоровья все-таки следует уйти?*

— Насколько я могу судить, он не до такой степени болен. Другого я пока не вижу.

— *Вы были одним из немногих, кто достаточно резко оценил шумную поездку Лужкова в Севастополь. Я с вами совершенно солидарен. Как вы вообще относитесь к московскому мэру?*

— Лужков — замечательный строитель, замечательный управдом, такие люди нужны... Но когда управдом начинает вырабатывать идеологию, навязывать ее, устраивать шумиху вокруг своих политических акций или взглядов, как в случае с Севастополем, — это меня настораживает. Государство

вообще не должно вызывать у человека никаких пылких чувств. Оно меня оберегает, я ему за это плачу налоги, оно представляется мне большой жилищной конторой и ничем более. Если говорят о Великой Державе, за этим наверняка скрывается прохиндейство.

— *А как насчет нынешней московской ксенофобии, своеобразного московского шовинизма, который, кажется, культивируется московскими властями? Вот вы — один из символов Москвы...*

— Какой я символ, ладно вам...

— *По крайней мере, этот ярлык на вас усердно клеили. И что, вам присуща ненависть к бомжам или страх перед беженцами?*

— Нет, нет, что вы... Я с таким отвращением думаю о том отношении к беженцам, которое здесь укоренилось... Как можно бояться или ненавидеть этих людей? Мне хотелось бы думать, что это не злоба, а неразвитость, безграмотность... При виде беженцев или бездомных я не испытываю ничего, кроме жгучего сострадания и жгучего стыда. В любой западной стране эту проблему уже решили бы из одних соображений престижа. Но наша российская черта, о которой я уже говорил, — абсолютное безразличие к судьбе частного человека.

— *А нищим вы подаете?*

— Музыкантам — да. Иногда и немусыкантам, если вижу, что это не жульничество. Я считаю себя человеком зорким.

— *В прошлом году ушел ваш друг Юрий Левитанский, в этом умер замечательный поэт Владимир Соколов. Насколько я знаю, эти люди в последние годы очень*

остро ощущали свою невостребованность, страдали от нее. Как у вас с этим?

— С Левитанским мы близко дружили, Соколова я знал меньше и относился к нему с уважением — кажется, взаимным. Были стихи, посвященные ему... Наверное, им — настоящим, превосходным поэтам — действительно казалось, что они невостребованы или забыты. У меня таких претензий нет. Во-первых, мне повезло — я засветился с гитарой. А во-вторых, я не слишком страдаю от того, что интерес ко мне сегодня меньше, чем, допустим, в семидесятые.

— Вы можете прожить чистой литературой?

— У меня хорошая пенсия — ветеранская, и Ельцин мне добавил — он сейчас подписал список нескольких литераторов, которым пенсия повышена. Два-три раза в неделю звонят и предлагают переиздать что-то из моих стихов или прозы. Что-то выходит на Западе. И потом, мне ведь немного надо. Какой-то минимум функциональной мебели...

— Например?

— В комнате желательны два кресла, кровать, диван, стол, стулья. Все это у меня есть. Что до одежды — в юности я любил приодеться, любил хорошо выглядеть и порядочно на это тратился. А сейчас — я уж и не вспомню, когда в последний раз покупал одежду. Я ношу те вещи, к которым привык и которые люблю.

— А старый пиджак действительно перешивали?

— Было такое, он еще долго мне служил...

— В вашей новой «знаменской» подборке меня несколько обескуражило стихотворение о немце, ко-

торый оказался в раю вместе с русским солдатом Ленькой и теперь беседует с ним не на русском и не на немецком, а на райском языке. Ленька, как я понял, — это Ленька Королев...

— Наверное, да. И что тут странного?

— *Неужели вы допускаете, что немецкий солдат мог попасть в рай... во всяком случае, в один рай с русским?*

— Допускаю. Я для него был таким же немцем, его послали на войну, ему приказали стрелять, он стрелял, я его убил... Я никогда не ненавидел немцев. Фашизм — всегда. Немцев — нет. Они же солдаты...

— *«Как славно быть ни в чем не виноватым, совсем простым солдатом, солдатом...»*

— Это песенка добровольного конформиста, который сам выбрал такую позицию. А солдата никто не спрашивал, послали воевать, и все. Кстати, эту песенку спас Евтушенко. Мы где-то вместе выступали, он сидел в первом ряду и оттуда попросил спеть мою последнюю вещь, — это как раз и была «Возьму шинель, и вещмешок, и каску...». Я стал отнекиваться — не могу, не помню, — а он продолжал просить: «Ну, спой песню американского солдата!» С тех пор я ее на выступлениях так и называл, хотя у американских солдат вещмешков не бывает.

— *А «Как славно быть совсем простым ученым, пока еще ни в чем не уличенным» — это не ваша переделка?*

— Нет, это сочинили в Московском университете. Там сделали на меня две очень смешные пародии: первая — эта, а вторая — «За что ж вы Клима Ворошилова». Если помните, тогда Ворошилов

временно примкнул к фракции Молотова—Маленкова—Кагановича. И песенка была такая: «За что ж вы Клима Ворошилова, ведь он ни в чем не виноват! Ведь он хотел, чтоб лучше было бы, а сам ни в чем не виноват! Он в цирк ходил на Старой площади и там во фракцию вступил. Ему б чего-нибудь попроще бы, а он во фракцию вступил. Она по проволоке ходила, махала белой рукой, но партия ее схватила своей мозолистой рукой»...

— *Какая ваша песня вызывала наибольшие нарекания властей?*

— Знаете, мне всегда трудно это объяснить. На нынешних концертах двадцатилетние спрашивают: вот вас преследовали в начале, а за что? И я теряюсь, потому что нарекания, например, вызывала моя строка: «Ах, война, что ж ты сделала, подлая...». Какая она подлая, если она — великая? Вот такой был уровень претензий. Или, например, вызывают меня и интересуются, почему я в песнях употребляю слово «женщина». Рекомендуются «девушки», а лучше всего «девчата».

— *У вас были песни гораздо более, я бы сказал, наглые по тем временам. Например, «Лежать бы Гусаку в жаровне на боку» — про Густава Гусака в 1968 году. Или «Римская империя времени упадка» в начале восьмидесятых — я помню, как конспиративно мы ее переписывали и никогда публично не пели, а вы бац! — и спели ее в 1982 году...*

— Видите ли, я вызывал недоумение только в первое время, когда появился какой-то усатый грузин с гитарой, запел пошлятину... как реагировать? Большой шухер! Поскольку песенки пели многие, а про автора знали только то, что он Окуджава, сна-

чала им вообще было непонятно, не женщина ли я. Потом стало известно, что Окуджава — это такой поэт, работает в «Литературной газете», реальное лицо... И они постепенно стали ко мне привыкать. Потому что хоть они и говорили, что народу я не нужен, но сами-то меня слушали, у всех у них дома мои пленки крутились... И постепенно я стал своим, и на меня перестали обращать внимание, а когда появился Солженицын — ну, на его фоне я был уже просто родной...

А с выпуском моей пластинки получилось совсем забавно. Приехали французы и спрашивают: почему у вас Окуджаву не издают? Мой французский диск тогда уже существовал и даже пользовался некоторой известностью. Им отвечают: «Как не издают? Его пластинка выходит!» И тут же дают команду срочно издать мою пластинку. Берут французский диск, списывают с него четыре песенки: «Леньку», «Смоленскую дорогу», «Песенку о ночной Москве» и «Полночный троллейбус». И печатают, ляпнув на обложку самую неудачную мою фотографию. Я ничего не знаю. Звонит мне Ваншенкин: «Слушай, я шел мимо киоска, а там твоя пластинка!» Я не поверил и побежал в этот киоск. Действительно, стоит пластинка. Купил, послушал и написал на фирму «Мелодия»: «Дорогие друзья! Сначала меня озадачило, что вы не известили меня о выходе моей пластинки. Но потом я понял: вы решили, что я уже умер. Рад сообщить вам, что это не так. В довершение всего вы поместили на обложке фотографию моего двоюродного брата». Через неделю мне позвонили, и мы начали делать большую пластинку...

— *К вопросу об уже упоминавшейся ресторанной культуре. У вас была ранняя песенка «А ну, швейцары, отворите двери»... От чьего имени она поется?*

— От имени нормального небогатого молодого человека моего поколения, который выбрался в ресторан. И ему не нравится, как бездельники и шлюхи глядят на него и на его женщину.

Я помню, было какое-то проработочное собрание деятелей культуры под председательством тогдашнего культурного босса Ильичева. И вот он с трибуны заявляет: «У Окуджавы есть песня, прославляющая золотую молодежь...» Он сделал паузу, и я с места громко сказал: «У меня нет такой песни». Он: а как же про швейцара в ресторане... Я: «Эта песня прославляет не золотую, а нормальную молодежь». Он растерянно произнес: «А мне сказали...» Воображаю, как он после разнес своих информаторов.

— *Но вам случалось в ресторане пояснять всякого рода брюнетам, что так смотреть на вашу женщину не надо?*

— Случалось.

— *В том числе и кулаком?*

— Почему нет?

— *А как же интеллигентность, главный признак которой, по вашей же формуле, — ненависть к насилию?*

— Защищать свою женщину — это сила, а не насилие. Интеллигентный человек должен сомневаться в себе, иронизировать над собой, страстно любить знания, нести их на алтарь Отечества... и уметь дать в морду... Вот это и есть интеллигент, а не советская формула «диплом-очки-шляпа».

— *А что для вас определяет настоящего мужчину и настоящую женщину?*

— И в мужчинах, и в женщинах меня интересует одно: личность. Цельность.

— *У Домбровского в «Факультете» настоящим мужчиной назван ваш отец, так и не признавший ни одного обвинения против себя...*

— Его дело всегда лежит у меня в столе. Отца допрашивали в Свердловске, и когда я там выступал — уже, впрочем, в Екатеринбурге, — мне подали ксерокопию этого дела. Мой отец был сложный человек. Да, он держался с редким мужеством и ничего не подписал. А до этого он всю жизнь с тем же фанатизмом, мужеством и азартом создавал все то, что его погубило.

— *А как вы воспитывали собственных сыновей? Вас устраивает результат?*

— Сейчас у меня остался один сын. Старший умер. Антон — младший, от второго брака, профессиональный музыкант, и музыкант, по-моему, очень хороший. Но он совершенно не умеет, что называется, тусоваться, а это при его профессии один из способов делания карьеры. Вместо этого он, не разгибаясь, сочиняет. Иногда и по заказам — что-то для рекламы...

— *(С опасением.) Но он не новый русский?*

— *(Со смехом.) Да что вы!*

— *А какие чувства у вас вообще вызывают слова «новый русский»?*

— Смех... Но вообще это действительно новое. Уродливый зародыш чего-то, что будет выглядеть совсем иначе.

— *Вы много времени посвящали воспитанию детей?*

— Как всякий азиат, я чадолюбивый отец. Но всегда получается так, что отцы уделяют детям меньше времени, чем хотят и должны.

— *Я слышал, что ваша жена — одна из самых известных московских красавиц, дочь академика Арцимовича... Вы легко ее завоевали?*

— Не дочь Арцимовича, а племянница, и это никак не облегчало ей жизнь... Что до известной московской красавицы... нет, это неточное определение. Она действительно очень привлекательна, и круг моих друзей разделял мое восхищение. Но никакого завоевания не было. Мы сблизились очень быстро. Потом в нашем союзе бывали и отчаянные минуты, но то, что объединяет нас, всегда перевешивало.

— *Вы заинтересовали ее, я полагаю, именно песнями?*

— Мои песни ее тогда интересовали меньше всего.

Ольга Окуджава

Не знаю, как для кого, а для меня Окуджава был не только любимым поэтом, чьи песни я знал наизусть лет с пяти (и все отлично понимал, казалось мне). Он был единственным, чей моральный авторитет так ни разу и не был ничем поколеблен. Главной народной песней о войне стал его марш к «Белорусскому вокзалу». Точно так же ушли в народ «Бери шинель, пошли домой», «До свидания, мальчики», «Простите пехоте» и даже песенка о том, как дураки радуются бравому пению солдат. Выходит, настоящий русский военный фольклор создан был человеком, к которому власть всегда относилась с подозрением. Ну как и к народу, собственно. Главный эпос о той войне написал Твардовский, чью семью сослали и замучили. Главные песни — Окуджава, чьего отца расстреляли, а мать посадили. Защищать Родину, которая убила твоих родителей да и тебя пощадила чудом, — это очень по-русски.

Он входил в комнату, и все переходило в иной регистр. Так и его отсутствие в нашей жизни сделало эту жизнь значительно более пещерной.

За семь лет его отсутствия изменилось многое. Не изменились его стихи и проза, провозглашенные классикой, но не забронзовевшие; не изменилась его красавица жена Ольга Окуджава (Арцимович), которой посвящены

«Путешествие дилетантов», «Вилковские фантазии»... и «Молитва», обращенная к ней же: «Господи, мой Боже, зеленоглазый мой».

— *Я никогда не верил, что «Здесь птицы не поют...» — песня, написанная по заказу. Для фильма.*

— Нет, именно по заказу Андрея Смирнова, режиссера «Белорусского вокзала». И сначала, когда Булат спел ее на студии, подобрав одним пальцем на пианино, она никому особенно не понравилась. Только Шнитке сказал: «Это прекрасный марш, я аранжировку сделаю». У Булата был хороший образец — он знал настоящие окопные песни. Песня из «Белорусского вокзала» — то, что он сам хотел бы на фронте написать. Но тогда он так не умел.

— *Ходил упорный слух, что незадолго до смерти он с помощью Никитина записал все песни, включая самые редкие...*

— Не совсем так, просто после операции на сердце несколько очень деловых ребят из КСП уговорили его перепеть самые старые песни, сохранившиеся в безобразных записях. Они его куда-то возили под белы ручки, буквально держали перед ним тексты — он уже и слов этих песен не помнил. Несколько раз позвали Никитина подыграть — сам он был не в форме. Потом однажды у друзей мы эти кассеты услышали — каким образом они распространились, не знаю. Он чуть не заплакал, настолько неузнаваем оказался голос, так плоско все звучало... Спасибо, конечно, этим ребятам — хоть для архива сохранили какие-то вещи...

— *Между тем мне он в интервью рассказывал, что, когда вы с ним познакомились, его песни вас совершенно не интересовали. А интересовал он сам, и ему это льстило.*

— Он так и сказал? Ох, моя душенька! Если серьезно, я никому и никогда не буду рассказывать про обстоятельства нашей с ним жизни. И писать об этом не буду. Но насчет знакомства — могу вам признаться с абсолютной искренностью, что ко дню нашей первой встречи я не слышала даже его имени. Ведь я жила очень замкнуто, в семье физиков, в их кругу; с литераторами не дружила. Когда Окуджава только начал входить в славу, мой дядя его позвал в гости — попеть. Было много знаменитостей, в том числе Петр Капица. Вот тогда я Булата увидела впервые.

— *И как?*

— А так. Вошел гений, и все. Жена не имеет права говорить о муже в таких выражениях. Но я тогда в самом деле понятия не имела, кто он такой, и потому с полным правом подумала: вот гений. И никогда с тех пор этой точки зрения не изменила.

— *А он рассказывал, что показывает вам новые стихи, а вы ругаете.*

— Конечно! Из всего его наследия, кроме песен, которые люблю почти все, я оставила бы, наверное, стихотворений тридцать. Но каких!

— *Нет, я бы стихотворений двести...*

— Но теперь я постоянно чувствую себя ужасно виноватой перед ним за свою самоуверенную и самонадеянную критику.

— *Да вы и не выходили из образа строгой жены.*

— А как же! «Строгая женщина в строгих очках мне рассказывает о сверчках...»

— *Это тоже про вас?*

— Извините. Сказать «про меня» было бы слишком смело. Но что-то такое, может быть, отдаленно присутствует. Булат щедро дарил. Иногда путался — что кому. «Эту комнату» посвятил Паустовскому. «Люблю я эту комнату, где розовеет вереск в зеленом кувшине...» Но ведь это мой вереск и мой кувшин! И комната наша, ленинградская, 62-й год. «А Паустовскому понравилось...» Он не посвящал, как все, он, когда писал, просто раздаривал написанное. Нормальный человек идет в гости с бутылкой, с букетом — Окуджава шел со стишком.

— *Почему он до такой степени терпеть не мог рассказывать про войну?*

— Да знаете, до странности мало известно про то, как он воевал. Вот сейчас стали делать фильм. Военных фотографий — одна или две. Никаких однополчан, воспоминаний, героических рассказов — только повесть «Будь здоров, школяр!», рассказ «Уроки музыки» и песни. Воевал на Кавказском фронте, был под Моздоком тяжело ранен в бедро, был минометчиком (и благодарил за это судьбу — «Я хотя бы не видел людей, которых убивал»). И все. Он ненавидел об этом говорить, потому что все это слишком глубоко в нем сидело. Ему было едва семнадцать, когда он сразу после десятого класса ушел добровольцем. Думаю, перепуганный мальчишка из «Школяра» — это все правда,

он и был таким. Потом, после ранения, чуть ли не больше года лечился. Героический пафос вообще ему не присущ: он любил подчеркивать свои субтильность, хрупкость, комизм, неуклюжесть — отсюда все эти кузнечики и муравьи среди сплошных советских орлов и соколов. Я помню, один критик его всерьез упрекал за то, что мир людей у него представлен каким-то насекомым царством. Но при том, что он избегал рассказывать о войне, она у него почти в каждом стихотворении, вплоть до самых поздних. Всегда кого-то чудом спасают, что-то горит, в кого-то пули летят. В самых мирных стихах это вдруг возникает. Я думаю, арест родителей и война были травмами, которые он до конца не изжил, да и можно ли было? И не простил ничего. Вот я говорю сейчас о том, что он сознательно себя принижал... но это тоже неверно, потому что в нем всего было намешано — в этом все дело. Он был все-таки кавказец. Гордый кавказец. С гипертрофированным чувством собственного достоинства. Муравей муравьем, это был полемический ответ на романтическую гигантоманию официальной поэзии, а панибратства он никому не позволял и вообще был довольно смелым парнем. Смелость его была фаталистической природы, он вообще был фаталист — не любил активно менять свою жизнь, будь что будет, решений не любил принимать... Но когда судьба его ставила в предельные обстоятельства — он не уклонялся. Два раза в жизни я видела, как он напарывался на серьезную драку: один раз попер на нож — это было в центре Москвы, недалеко от Дома литераторов.

Там кто-то кого-то выпихнул из очереди на стоянке такси, тот вытащил нож, Окуджава спокойно пошел на него — хорошо, что и его, и противника успели схватить за руки. Я уже готова была заорать: «Это Окуджава!!!» — но Бог спас меня от этого позора — обошлось без кровопролития. В другой раз на его глазах рядом с Речным вокзалом рыжий водила самосвала смачно материл молодую женщину с ребенком. Здоровый такой малый. Булату пришлось встать на подножку машины, чтобы дотянуться решительной ладонью до его лица. И что-то он ему такое сказал, что-то очень, видимо, доходчивое о том, как надо вести себя с женщинами, так, что тот совершенно опешил и дал задний ход. Да, все-таки полугрузин, полуармянин, хоть и совершенно обрусевший: он не любил говорить о себе, приберегал для интервью десяток баек и неизменно их повторял практически наизусть, но и унижать себя никому не позволял. Кавказского было в нем много. И я думаю, этого ему не прощали: странная эта ненависть, которую он вдруг вызвал при первом же своем появлении, могла объясняться только одним. Пришел какой-то грузин с гитарой, с усиками и запел про нашу Москву. Про нашу войну. Чучмек кавказской национальности, а песни становятся русскими народными. Непростительная же вещь!

— *Он еще любил говорить про свою грузинскую царственную лень...*

— Ну если он был ленив, то кто я на его фоне?! Он в Переделкине с утра хлопотал, пока я еще возлежала в постели: колол дрова, чинил освещение в га-

раже, проверял, как хранится картошка в сарае... Он любил лень вчуже, уважал ее в других, а сам работал беспрерывно. Другое дело, что писать за столом тоже казалось ему слишком пафосно, серьезно, вроде как называть себя поэтом. Он предпочитал говорить «я литератор», а сочинять лежа. Вообще любимая поза была — подогнув колени, с книгой, на диванчике. Конечно, существовал кавказский культ гостеприимства и готовки, гурманство, колдовство с травками на кухне. Приветствовались гости, но истинное наслаждение доставляла только открывающаяся дверь. О, кто пришел! — объятия, приветствия, сервировка стола. Через час я видела — ему уже скучно, он хочет с книгой на диванчик.

— *Я слышал, что операцию на сердце ему в Штатах сделали бесплатно как ветерану Второй мировой...*

— Полная чушь. Операция стоила шестьдесят пять тысяч долларов, и без денег делать ее отказались, хотя при обследовании и сказали, что состояние критическое — до Москвы он мог просто не долететь. Чудом оказалось «окно» на следующий день у знаменитого кардиохирурга, японца, к которому очередь занимали за годы. Денег у нас не было — только страховка на десять тысяч (оказавшаяся поддельной) да гонорар за выступления, примерно столько же. И еще — американское medical care для неимущих; тем самым он как бы попадал в разряд бродяг, которым вдруг плохо становится на улице. В больнице сказали, что оперировать надо немедленно, но без оплаты они ни за что не возьмутся. Я позвонила Копелеву. Он отзвонил в клинику: «Деньги будут, оперируйте». На

следующий день немецкое издательство в самом деле перевело шестьдесят пять тысяч, не забыв попросить, чтобы мы их поскорее вернули. Гарантом займа выступал Копелев, у которого таких денег не было, — ему грозила бы долговая тюрьма, не набери мы требуемую сумму. Сразу предложил денег Евтушенко, но я отказалась — в России были тогда не те времена, чтобы с русских собирать деньги. Сбрасываться стали американцы. Кто-то давал три доллара, а кто-то — триста. И мы набрали. Американцы очень удивлялись, почему в лечении известного поэта, вдобавок фронтовика, никак не поучаствовало государство. И почему вообще он такой знаменитый и такой бедный. Больше всех удивлялась Джоан Баэз — она как раз включила его «Молитву» в свой репертуар...

Кстати, недавно я прочла в газете в интервью с Зурабом Церетели, что он «оплатил операцию на сердце Булату Окуджаве», и очень удивилась. Этого не было и просто не могло быть. Из России мы не получили ни копейки.

После операции он чувствовал себя очень хорошо. И вовсе не так тяжело болел в последние годы, как любят сейчас вспоминать некоторые мемуаристы, изображающие его слабым и вялым инвалидом. У него была эмфизема легких, ему запретили курить (я долго еще находила под матрасами припрятанные окурки — затянулся два раза, погасил, спрятал). Все это отравляло, но не отнимало жизнь. За месяц до смерти его в Германии осматривал врач и сказал: лет десять-двенадцать у вас еще есть точно. Он погиб не от болезни, а от врачебной ошибки. Мы уехали

с ним в наше последнее путешествие совершенно счастливыми — он вообще старался на день рождения куда-то уезжать. У нас были деньги. Мы могли себе позволить поехать куда угодно. Для начала выбрали Марбург, город Пастернака, жили там десять дней в частной гостинице. Друзья, Барбара и Вилли, нас баловали. Чудесно встретили его день рождения 9 мая. Дальше предполагался Мюнхен, но Булат сентиментально захотел в Кельн, к Левушке Копелеву и Боречке Бергеру... Хочешь? Пожалуйста! Мы все можем! Копелев кашлял — это были последствия гриппа, а у Булата был снижен иммунитет, и заболеть гриппом было для него в высшей степени нежелательно. От Копелева он и заразился. Лева пережил его на неделю. А при встрече они хохотали, пили водку и радовались друг другу, и вся поездка была счастливая — какая-то очень свободная, вольная. Давно еще он подарил мне маленькую золотую карету на тоненькой цепочке. «Мы едем, как странно!» Все повторялась эта фраза из «Путешествия дилетантов».

— *Кстати, накануне горбачевского появления и в первые годы этой новой «оттепели» Окуджава вдруг выпустил целую обойму первоклассных песен...*

— Да, тут была какая-то связь... не совсем понятная. И то, что он родился в День Победы, а умер в День России, — почти мистическая закономерность.

— *У вас не было ощущения, что в последние годы он разочаровался в своих друзьях из числа младодемо-кратов?*

— Нет, я бы так не сказала. Он видел их мужество, трагизм их положения, верил в чистоту их замыслов. Ошибки, конечно, видел тоже, но он не склонен был отречься от людей из-за их ошибок. Ведь сумел же он не опуститься до драки ни с Владимиром Максимовым, ни с Бушиным, как бы ни ужасался каким-то их шагам. В девяностые годы у него были страшные стихи о стране.

— *«Слишком много стало сброда, не видать за ним народа»?*

— О, что вы, много резче. Но и от такой страны он никогда не отрекался, потому что — и это лучшее из всех его четверостиший — «Но вам сквозь ту бумагу белую не разглядеть, что слезы лью. Что я люблю Отчизну бедную, как маму бедную мою». Да, в восемьдесят пятом он позволил себе надеяться. Это потому произошло, что в начале восьмидесятых стало совершенно невыносимо. Казалось, что так и умрем в этом старческом безумии, в очевидном для всех абсурде — сейчас трудно даже представить, что это были за времена.

— *Не так уж и трудно.*

— И когда появились надежды, и показалось, что друзья вернутся, и ездить разрешили, и петь приглашали... Да ведь и не в том было дело. Он не воевал особенно с советской властью, поскольку изобрел способ говорить все, что ему хотелось. А просто лопнул огромный нарыв, и как было не радоваться?! Булат хорошо писал и хорошо себя чувствовал, когда в стране становилось можно дышать, и сам потом винил за эти обольщения исключительно себя. Вообще привычка к само-

обвинению сидела в нем крепко. Ему казалось, он виноват в том, что разделял иллюзии шестидесятых и восьмидесятых. Виноват в недостаточном внимании к матери, детям, людям вокруг, в том, что ему все-таки везло, когда другим не везло... И вот это стихотворение, обращенное к сыну: «Мой сын, твой отец — лежебока и плут...» — оно вовсе не такое насмешливое, как принято думать. Ирония, всегда ирония по отношению к себе. И склонность объявлять себя счастливецем — изнанка постоянного страдания за всех и вины перед всеми.

— *Он любил выступать с сыном?*

— Да, ему нравились новые фортепианные версии песен. Старые, говорил он, давно надоели. И еще, я думаю, ему было очень приятно, что сын никак не пользуется ни положением, ни фамилией отца... А что вы сами у него считаете лучшим?

— *«Настоящих людей очень мало, на планету совсем ерунда. На Россию — одна моя мама, только что она может одна?»*

— Мама была действительно очень настоящая. Мы с ней, конечно, поначалу присматривались друг к другу. Была ужасная ревность — кто правильнее любит Булата. Она была строгая. Очень честная. Очень закрытая. Со страстной жадой анонимно помогать всем и каждому, иногда совершенно чужим людям. Такая коммунистка в идеале, почему Булат и освобождался от коммунистических иллюзий с таким трудом.

— *Странно, что антикоммунист Набоков так его любил...*

— А может, он понимал «Сентиментальный марш» как песню белогвардейского офицера? Вот комиссары его убили, вот склонились над мертвым врагом и с любопытством разглядывают. Потому Набоков и перевел его для «Ады».

— *Откуда он мог ее знать в шестьдесят-то пятом?*

— А загадка. Какая-нибудь мохнатая ночная бабочка принесла на крыльях. Общих заграничных знакомых у нас не было.

2004

Валерий Попов

Валерий Попов — мой любимый прозаик (наряду с его старым товарищем Александром Житинским). Я люблю всего Попова — и ранние счастливые рассказы, захлебывающиеся радостью, и поздние, жестокие, депрессивные, на пределе откровенности — а то и за пределом. Но мрачен или весел Попов — он всегда прежде всего точен. Каждый разговор с ним одаривает вас несколькими бесценными формулировками.

— *Валерий Георгиевич, вот был постмодернизм, и нет постмодернизма. Последняя его судорога, уже не претендующая быть искусством, — очень милый по-своему, но чисто коммерческий Акунин. Мне кажется, что пришло время социального реализма и семейных саг, — нет таких ощущений?*

— У вас в Москве вообще очень апокалиптическое такое ощущение жизни: обязательно надо, чтобы все время что-нибудь кончалось. Остроты придает. Реализм кончился, модернизм кончился, деньги кончились в стране... Нет, я за то, чтобы расцветали все лопухи. Но в издателях действительно сильно желание заполучить семейную сагу. У нас в Питере роскошно продавалась и все рекорды била толстая книга Дмитрия Вересова «Черный ворон». Семейная история на фоне об-

щественных катаклизмов с элементами мистики: всемогущий партиец, сын-геолог, дочь подложили под дьявола, чтобы она ему родила наследника... Вересов — это псевдоним, по-моему: в действительности это филолог писательского вида. Вот я, например, совершенно безлик, ничего экстраординарного. А у него борода, жилетка со множеством карманов — стильный человек, одним словом. Я не против саги и вообще литературы про жизнь, но после нее не остается никакого послевкусия: переженились, померли, а кончается все нулем. Как всякое существование.

Сейчас ведь литературной моде не дадут возникнуть естественным путем. Она бы, может, и появилась, но формирует ее пресса, прессинг. Очень весело получается: раньше был такой критический штамп — «Литература формирует поколение!». Сейчас поколение воспитывает литературу, то есть как бы уже не гроб делается под покойника, а наоборот — покойник под гроб. Короткий? — ну ничего, мы вам его сейчас вытянем... Не Пелевин выражает чаяния молодежи, а молодежь — чаяния Пелевина. Правда, Пелевин как раз лучший.

— *Но согласитесь, что кое-что действительно кончилось. Новый русский как типаж, например, совершенно ушел из литературы...*

— Он ушел потому, что мы его описали. А надо было его придумать. Он описан нами как тупой и плоский, и злобный, и вся драма его жизни заключалась в том, что он попросил у банкира-приятеля какие-то деньги, а потом кинул этого приятеля. Или приятель его кинул, или они кинули друг друга — вот все разнообразие ситуаций. Задача писателя была

придумать им слова и мысли, как Толстой придумал Вронского. Ну что такое Вронский? Офицер, здоровый, скучный. Но Толстой придумал ему «Ааа, что я сделал!» — и мы помним...

Кстати, новые русские и сами поверили литературе, тут тоже обратный эффект своего рода. Они поверили, что они такие — двухмерные. И вся жизнь их стала двухмерной, искусственной, они не очень верят в собственную реальность, как мы с вами не верим в боевик. Они поэтому и в квартирах своих — с одинаковым евроремонтом, одинаковой мебелью — живут, как в декорациях: никак их не обживая, ничего не трогая. Вы заметили? Идешь по улице, смотришь в окна — у всех евроремонт, все сидят неподвижно и боятся пошевелиться.

А между прочим, в них какие-то задатки были, из них запросто могли получиться герои. Вот меня на юге России познакомили с одним владельцем обувного магазина, который очень любил литературу. Он мне так и представился — очень, говорит, книги люблю. Я зашел в его магазин, где продавались ботинки и пахло плохой, нагретой, ужасно вонючей кожей. И среди кожи этой у него на полках, рядом с ботинками, везде стояли томики стихов, запомнил я Асадова... При человеческом с ними общении можно было бы разглядеть какие-то типажи. Другое дело, что страшно отходить в сторону от себя.

— *Мне представляется, что первую половину жизни своей литературной — года до восемьдесят пятого — вы все время себя старательно уговаривали, что жизнь возможна, что все не так плохо. А потом с тем же упоением, с каким рвут рубаху, начали доказывать, что все нестерпимо, нестерпимо...*

— Ну, это писательский мой эгоизм. Я понял, что ужас — самое сильное чтение. И вообще: вот живешь, всю жизнь надеешься, что сможешь расслабиться и все станет превосходно, а потом, как один мой герой, понимаешь, что этого не будет НИКОГДА. Открытие, сопоставимое с открытием земного тяготения или перспективы. И постепенно приучаешь себя к жизни в обстановке перманентного камнепада, а потом понимаешь, что для писателя это как раз и есть оптимальная жизнь. Внутренний свой рай надо постоянно противопоставлять летящим в тебя булыжникам, и на этом диапазоне получается проза. Ну вот, воображаю я, вот у меня загородный дом, постоянные переиздания, компьютер с электронной почтой, позволяющей рассылать востребованные тексты нетерпеливым издателям, не выходя из дома... Вот я дотащил свою жизнь до этой белой, солнечной веранды. И что я пошлю по этой электронной почте? Роман «Благоденствие»? Пустейшая будет книга...

Главное противоречие жизни заключается в том, что постоянно приходится улыбаться. Случилось несчастье, а тебе через полчаса надо быть у издателя и его очаровывать, или давать интервью финну, от которого зависит твой перевод или приглашение туда, или любезничать с потенциальным твоим квартиросъемщиком. Никого твои страдания не интересуют, и наконец этот раздрай между камнепадом и необходимостью улыбаться стал меня восхищать. Жизнь на разрыв — нормальное писательское состояние.

— *Я недавно прочел новый ваш рассказ «Единственное, что утешало» — о самом начале писательской*

карьеру, о жизни в Купчине и работе в какой-то оборонной лаборатории. Что, вы правда так бедствовали?

— Не то чтобы бедствовал, но образом ада для меня навеки осталась зимняя автобусная остановка. Стоишь спиной к ветру, на спине наметает снежный горб. И жизнь издевается над тобой: автобуса нет и не будет, а если будет, то он, пустой и освещенный, пройдет мимо тебя, даже не замедлившись. Лучшие годы прошли на пустыре, на болоте, куда мы переехали с Невского. Это была полная «ж» с точками, и писатель должен знать «ж» с точками. Жизнь то есть... Есть ребята, которые умудрились всю жизнь просидеть чистенькими, ни разу не испытав полновесного отчаяния при виде собственной жизни, уходящей в никуда. Ребята, которые все про жизнь понимают в самолете Иокагама—Рим. Но истинного накала, при всей удаленности Иокагамы от Рима, это не дает. Настоящий стимул для писателя — это отчаяние. Вот мне через пять дней сдавать рукопись, большую повесть. Написать надо еще порядочно. Вчера я весь день давал интервью упомянутым финнам, пил с ними, — совершенно не понимая, зачем мне это, и томясь тягостной скукой, — а после этого полдня сегодня спал, а еще полдня вот с вами гуляю.

— *Ну простите!*

— Да и прекрасно, это же входит в мои планы. Я вас использую, а не вы меня. Мне надо, чтобы осталось два дня. Тогда я испытаю беспросветный ужас, создам себе обстановку аврала, при которой мобилизуются все тайные силы организма...

В голове же у каждого человека не так много идей, душевные наши силы связаны. Вот чтобы их развязать, надо все доводить до крайности. Очень возможно, я никогда бы не стал писателем, оставшись на Невском. А нечеловеческое усилие выбраться из этих пустырей, с этой остановки породило какую-то новую манеру...

— *Но сейчас-то вы опять на Невском. Не скучно?*

— Всюду жизнь. Вчера проснулись от того, что бомжи подожгли мусорный бак во дворе. Они ночью там ищут бутылки и светят самодельными факелами, ну и подожгли. Загорелся всякий пластик, пошел отравляющий дым — в общем, все было готово для смерти. Полночи с женой заливали бак. Грротеск!

— *Есть и другой стимул. Насколько я знаю, вы много экспериментировали с алкоголем. Занимались этим делом всерьез.*

— Писатель всерьез занимается только одним делом — он пишет, придумывает, не бывает у него минуты, чтобы он не сочинял и чего-то не прикидывал в уме. Всем остальным, включая даже кормящую его профессию, он занимается постольку-поскольку, по-дилетантски. Писатель — это разведчик, который делает вылазки в разные области жизни, но не имеет права не вернуться. Я возвращался отовсюду, в том числе из алкоголя. Выпьешь рюмку, выпьешь две, — ну и сколько можно? Алкоголь нужен единственно для того, чтобы несколько раскрепостить мозги, позволить им какое-нибудь абсурдистское хулиганство. Однажды я в состоянии сильного похмелья написал: «Нил пил чернила и мрачнел. Из

чулана выскочила пчела и прикончила Нила. Нил гнил. Пчелу пучило. Вечерело». В трезвую голову такое не придет.

— *На что в наши дни выживает профессиональный писатель? Помимо книжек, которые кормят нерегулярно и мало?*

— Ну, я вот с некоторых пор в газету пишу, в «Смену». Колонки.

— *И не достало? Лично я давно мечтаю уйти от необходимости писать по графику...*

— И что делать? Веселиться? Но как? Писателя веселит только сочинительство, а сочинять всю жизнь нельзя. Журналистика — она дает хороший такой выход сиюминутным эмоциям. Пишешь, что думаешь. А написать книгу о том, что думаешь, нельзя, — в прозе все как-то утрамбовано и раскрашено. Судя по тому, что из последнего семидневного пребывания в Америке я сделал десять репортажей, кое-какой журналистский профессионализм во мне уже есть.

— *И о чем же пишете?*

— Ну вот, для начала написал «Америку, которую мы потеряли». Мы ее действительно потеряли — слишком стиснули в объятиях, напугали нахрапом своей любви.

— *А что за роман у вас «Евангелие от Магдалины»?*

— Действие происходит в наши дни. Там, знаете, появляется Христос. Но не назидательный, грозно висящий над тобой на кресте, а добрый такой, веселый.

— *Такого не бывает, Валерий Георгиевич.*

— Почему? Такому, грозному, я ничего про себя рассказывать не стану, каяться тоже. Я расскажу такому, который улыбнется, посочувствует и нальет. Есть такие люди... поднимающие пену счастья вокруг себя. Бог такой, по-моему.

А дописываю я сейчас другую книгу, про хирурга. Меня с ним один знакомый эмигрант познакомил. Я по-детски изумляюсь, знакомясь с каждой новой сферой человеческих занятий: вот, и здесь идет какая-то высокоорганизованная жизнь! Видел, как сердце режут, полощут его, как тряпку. При этом весело обмениваются новостями, страшно деловитые... больше всего похоже на авторемонт. Совсем не драматичные люди. Принесите насос, попробуем. Нет, не годится. Унесите насос. Да, думаю... а я думал, что от грыжи умру. Операция грыжи, конечно, очень неприятная, жуткая... но, оказывается, куда мне с моим опытом претендовать на подлинную жуть!

— *Сейчас все ждут диктатуры. А вы ждете?*

— Вообще есть такая английская поговорка — Don't trouble trouble until trouble troubles you. То есть, грубо говоря, не беспокой беспокойство, пока оно тебя не побеспокоило. Есть примета какая-то у скандинавов, что не надо бросать в море камни, иначе оно замерзнет. Мы уже столько набросали камней, что замерзнуть оно просто обязано! Все толкают государство на путь диктатуры, потому что диктатура эта сразу придаст какой-то сюжет: ну давай! ну жми! А я никакого дополнительного прессинга не чувствую, но я и в семидесятые годы его не чувствовал. Ну да, было постоянное унижение,

очереди... Но зато как добывался праздник, какое счастье было — купить язык! «В магазине выбросили веки орла», — говорил у меня в рассказике один герой. Не такое уж и преувеличение, если пределом счастья казался какой-то загадочный мускул гребешка, замороженный. Тогда было тяжело, сейчас противно... Тогда я спасал чьи-то невозможно плохие сценарии, сейчас меня зовут вручать какие-то премии за никогда не читанные мной лучшие школьные сочинения. Причем я знаю все, что там будет: сначала перепутают мои имя и фамилию, потом я буду говорить какие-то слова школьникам, понятия не имеющим, откуда я взялся... Но я отказываться не буду, все равно поеду: прошвырнусь по Невскому, проеду в метро и увижу там больше, чем в любой загранице.

— *Сколько вас ни читаю, всегда у вас главные страдания героя связаны с дочерью. Он за нее переживает гораздо больше, чем за себя. Только обзаведясь детьми, я понял, насколько это нас делает уязвимее. У вас тоже так?*

— Не только уязвимее, дети — это вообще десятикратный, стократный резонатор всего. Я никогда так не мучился ни одной своей проблемой, как проблемами дочери, любым ее унижением. И никогда так не радовался ни одной своей покупке, как каким-нибудь фломастерам, которые для нее раздобывал. Представлял, как она возьмет эти фломастеры... Да, это самый радикальный способ усилить все чувства — завести детей. А если тебе самому при этом двенадцать лет — можешь считать, что все необходимое для литературы у тебя есть.

— *Я вас знаю лет пятнадцать, и вы меняетесь очень мало. Литература действительно консервирует людей — или это только ваш случай?*

— Она консервирует, но не всякая. Есть литература больших идей и глобальных проблем, но я писать такую не могу, потому что все это кажется мне замным. А вообще я на самом деле не меняюсь с двенадцати лет. И в двенадцать лет, и теперь, стоило мне подойти к серьезным людям и включиться в их разговор, все сразу понимали, что я человек несерьезный. Я пытаюсь все как-то выстроить, рационализировать — короче, решить. А они не любят решений, проблема нужна им, чтобы чувствовать себя серьезными. Когда я в двенадцать лет подходил к любой компании — сразу чувствовал себя младшим, и сегодня, когда иностранцы меня приглашают куда-то и начинают расспрашивать про страдания Родины, я дам пару ответов, а дальше они молчаливо переглядываются и начинают говорить уже между собой.

У нас вообще не любят легкости. Надо, чтобы все было тяжело, многочасово, надрывно. Мне очень стыдно всегда было перед такими напряженными людьми — я порхаю где-то, а они надрываются... Наверное, я мог бы ориентироваться на образ великого писателя, глобально мыслящего, страдающего за Отечество, — но сразу чувствуешь себя как-то обложенным ватой для солидности. Ни схулиганить, ничего... И вообще: писатели бывают либо великие, либо хорошие. Великое хорошим не бывает.

Я вообще не очень завидую другим людям. Да, я не всегда могу отказать в беседе или помощи тем,

кто мне неприятен. Да, я от этого мучаюсь. Но если бы я себя ломал и становился другим, я бы больше мучился. Иногда я завидую депутатам: вот, они ездят куда-то бесплатно, хорошо вообще живут... Но представить себе, чтобы я в качестве депутата куда-то пошел?! Я на третий раз проспал бы. Моя зависть всегда имеет исключительно пассивный характер.

Хотя вот отцу своему я завидую. Ему девяносто лет, он до сих пор все знает о сельском хозяйстве. Весь северо-запад России ему обязан хлебом — он вывел несколько северных сортов пшеницы. Недавно я ему со стыдом признался, что до сих пор, при отце-селекционере, не отличаю пшеницы от ржи. Может русский человек не отличить пшеницы от ржи?

— *Не может, наверное...*

— А я не отличаю. И признаюсь.

— *Я тоже.*

Александр Проханов

Как бы я ни относился к отдельным романам, взглядам и эскападам Проханова-прозаика, — как человек он вызывает у меня безоговорочную симпатию. И как политик — тоже, потому что идеализм его для меня несомненен. А уж его взгляд на историю — мистический, конечно, и даже мистериальный, если угодно, — в любом случае глубже и верней материалистических домыслов, будь они марксистскими или кейнсианскими.

— Александр Андреевич, вот чего не пойму. Есть у вас вполне нормальные, добротнo-реалистические романы вроде недавней «Надписи». И есть гротескные, уродливо-гиперболические, находящиеся, прямо скажем, за гранью вкуса, — вроде только что вышедшего «Политолога». Не спрашиваю, когда вы умудряетесь их писать — по два-три в год, толстенные, — но как в вас уживаются эти две манеры?

— Значит, вношу ясность: за меня пишут два литературных раба-негра. Сам я уже после второй книги литературу оставил, поняв, что нанимать рабочую силу гораздо проще. Один негр — добротный реалист, второй, как вы говорите, уродливый гиперболист. Примирить их невозможно. Причем оба сумасшедшие, и я старательно поддерживаю в них огонь безумия. А агентурные донесения для

подпольного патриотического центра пишет третий. А передовицы для «Завтра» — четвертый. Не говоря уже об интервью, которые берет пятый. Или нет. Сенсационное признание. Квачков и Ходорковский берут их друг у друга.

— *Учитите, я ведь так и напишу.*

— Конечно, напишете. Я в вас верю.

Если серьезно — я борюсь со своим безумием, сбрасывая его публике. И пишу много, потому что моя работа — газета — никак не препятствует литературным занятиям. Есть у меня друзья, вынужденные зарабатывать вещами, далекими от их призвания. Футурологи, мыслители, отягощенные поденщиной. К счастью, и газета, и политика в моем случае подпитывают литературу. Я беру от них не столько факты, сколько энергию. Да и потом — нет выше наслаждения, как в событийном хаосе разглядеть готовый сюжет, законченную логическую линию. И без изменений перенести ее в роман.

— *К вопросу об интервью. Беседы с Ходорковским и Квачковым стали, без преувеличения, сенсациями. Настоящими, а не уткой вроде ваших негров. Как это получалось? Вы все-таки проникали на личные свидания или все делается заочно?*

— Нет, конечно, на свидания никто бы меня не пустил. Это только для близких родственников и адвокатов, а я ограничивался передачей вопросов по своим каналам. Иногда — через адвокатов, но не всегда: они слишком сильно рискуют репутацией, на них большая ответственность... Иногда полученные ответы не совпадали с вопросами, приходилось развивать, уточнять, переспрашивать — в общем,

тексты путешествовали от меня к моим заочным собеседникам по три раза. После чего визировался готовый текст. Правка Ходорковского внесена от руки, экземпляр у меня хранится. Есть и рукопись Квачкова.

— *Из беседы с ним так и неясно, участвовал ли он в покушении на Чубайса. Виновным, по крайней мере, себя не признает. А что вы думаете о мере его участия в том взрыве?*

— Мне бы хотелось, чтобы он в этом участвовал, чтобы его затея удалась, чтобы он не понес за это никакой ответственности, а я с одобрением написал бы об этом и остался на свободе. О степени его реального участия в покушении могу только гадать. Сам он отрицает свою вину.

— *А ведь если бы Чубайс попал в тюрьму, вы бы и у него взяли интервью — разве нет?*

— Не исключено. Видите ли, пока человек разбойничает на дороге — с кастетом, с гранатометом, в чалме моджахеда, — он вор и тать, и можно бороться с ним его же оружием. Но едва он попадает под железную пяту государства, как сразу становится жертвой и уже достоин сочувствия. На дороге он вел войну, в этой войне его могли убить, и все было честно. Но попасть в лапы монстра, остаться в них одному — гораздо ужаснее. Ведь отнять у человека свободу — преступление более страшное, чем отобрать кошелек или жизнь. Свобода дана человеку Богом, это вечная возможность выбора, и отнимать ее — значит страшно оскорбить образ Божий.

— *Интересно получается у вас. Посадить Чубайса — страшней, чем взорвать его?*

— В каком-то смысле — да, безусловно. Крестьянки, когда каторжников с наполовину обритыми головами, с вырванными ноздрями, в кандалах гнали по Владимирке, выносили им узелки с хлебом, плакали над их судьбами, хотя и знали, что все это убийцы и воры. Правда, у этих баб обязательно кто-нибудь побывал в тех же кандалах, иногда безвинно. Русский народ всегда чувствовал: лишение свободы — богопротивно.

— *А покушение, значит, не богопротивно.*

— Народ имеет право на восстание. Это во многих международных хартиях записано, хоть я и небольшой знаток хартий... Если народ поставлен на грань выживания — а в нашем случае уже и на грань вымирания, — даже с точки зрения международного права он может восстать. Впрочем, я, наверное, субъективен. Вымирание со скоростью двух миллионов в год — это, наверное, еще не катастрофа. И то, что средний рост людей за пятнадцать лет снижается на десять сантиметров, — тоже еще не катастрофа. И тотальное разрушение народного хозяйства — не вымирание. Может, все это только кажется одной огромной зачисткой, по сравнению с которой ничто все взаимные истребления сербов и хорватов? Ну, тогда, конечно, Чубайса обвинить не в чем. Хотя ни Троцкий, истреблявший казаков, ни Сталин, истреблявший крестьян, не доходили до таких масштабов геноцида.

— *Но если этот истребитель сядет — вы готовы ему сострадать? Ходорковскому же сострадаете, а он во всем этом целенаправленном геноциде и разграблении, как вы называете постперестроечные процессы, участвовал лично...*

— Посмотрим, как сядет Чубайс. Может, он из тюрьмы будет непрерывно вещать: «Вы посадили мое тело, но не мой могучий дух, и этот дух вас проклянет, отомстит, настигнет!» Но тюрьма — великая школа богословия. В ней с человеком происходят непредсказуемые вещи. Лимонов вошел туда чуть ли не хулиганом, а вышел — метафизиком, глубочайшим мыслителем. И с Ходорковским там произошли глубокие моральные перемены, и он, уверяю вас, искренен в своих письмах. Иначе, вероятно, им бы с Квачковым не сойтись, и не услышал бы Ходорковский от полковника ГРУ «До встречи на баррикадах» (в версии Квачкова это было желание мужественно бороться). Не исключаю, что и в Чубайсе проснется совесть или литературный дар — и я охотно опубликую беседу с ним в нашей газете.

— А с Путиным? Есть какая-нибудь его реакция на ваши романы — в том числе на «Политолога», где он попросту сделан переодетой женщиной? Мне казалось, в начале его правления вы слегка, так сказать, питали иллюзии на его счет...

— Конечно, питал! Он потому и сделан у меня женщиной, что глубоко женственна сама его природа: располагать, очаровывать... У нас были личные встречи. Да, очаровал. Все это прошло после первых же его обращений к граду и миру. Я обнаружил главную тайну его программы: патриотическая надстройка на неолиберальном базисе. Ведь что такое неолиберализм в принципе? Это философия, исключающая всякое дальнейшее развитие государства. Уничтожающая его. И вот Путин использует абсолютно патриотическую фразеологию — для

консервативной, государственнической части общества — и строит свою политику на фундаменте столь либеральном, что и при Ельцине такого не было. Это касается и отъема льгот, и окончательного истребления социальных функций государства — всего, словом. В результате убиваются два зайца: раскалывается, во-первых, патриотическое сообщество — половина за Путина, потому что обманута фразами, а половина догадалась, что никакой он не восстановитель страны, и ушла в оппозицию. Во-вторых, размывается так называемая демократическая оппозиция, и по тому же принципу. Поздравляю, это замечательная операция.

А реакция его на мои романы... Ну, что он мне сделает? Газету закроет — рабочий кабинет-то мой не закроет, а главная опасность исходит оттуда... Мне шестьдесят семь лет, Дмитрий. Я не могу себе позволить всерьез думать о реакции Путина. Я на Путина... как это сформулировать, чтобы вы могли напечатать?

— *Не обращаю внимания.*

— Ну, пусть так. Он, правда, обращает: люди из его тогдашнего окружения мне передавали президентскую оценку «Господина гексогена». Высказано было три тезиса: что роман очень интересный, очень вредный — и надо сделать все возможное, чтобы такие книги больше не появлялись.

— *А вы — для себя — допускаете участие ГБ, ну и Путина тоже, в московских взрывах 1998 года?*

— Скажу вам честно: когда Березовский во время разговора со мной спросил: «Кто, по-вашему, это сделал?» — я после секундной паузы ответил: «Вы».

— *Я так и думал.*

— Но он ответил мне вполне убедительно: «Я принимал участие в продвижении Путина на престол, но там действовали два штаба — олигархический и силовой». Я подумал, проанализировал — а что тут недостоверного, в 1996 году штабов тоже было два. Нормальная кремлевская тактика. Они конкурировали, ненавидели друг друга. Один — «Коржакова, Барсукова и духовного отца господина Сосковца». Эта компания предлагала распустить парламент — министр внутренних дел Куликов им не дал. Второй штаб был опять-таки олигархический — он и победил в конце концов: Чубайс плюс олигархический пул. Видимо, аналогичная схема была в 1999 году. Я не говорю прямо, что московские взрывы были устроены чекистами: даже если они и приложили к этому руку, сделано все было, возможно, чеченскими руками, и это логично — зачем самим трудиться, если можно использовать других? Просто, когда реставрируешь ход событий, тебе надо через несколько точек провести линию. И линия эта в моем понимании проходит и через такую точку, как силовой заговор с кровавыми провокациями.

— *Как складываются ваши отношения с лидерами коммунистов?*

— Ну, а как они могут складываться после «Политолога»? Там о красных вождах достаточно резко сказано. Плохие отношения, и уже давно. КПРФ не проявила никаких способностей к обновлению, модернизации, росту — люди там в верхушке довольно ограниченные, конформные. Энергия масс истрачена попусту. Я сейчас ищу союзников в левой, бо-

лее радикальной среде — лимоновской, в частности. В «Родине», особенно в молодой. Молодежь сейчас радикализируется на глазах.

— *Это мода.*

— Пусть мода. С моды часто начинаются революции.

— *Это буржуазная мода, уточню я. Буржуазные, благополучные яппи из среднего класса — очень малочисленного, кстати, — поигрывают в революционность. С ними каши не сварить.*

— С буржуа? Почему? Буржуазия — вполне революционная сила. У нас ведь сейчас что? — натуральный феодализм. Посмотрите на его приметы: феодальная раздробленность есть? Налицо! Россия дробится на мелкие княжества, элиты которых враждуют между собой. Институты демократии есть? Отсутствуют в принципе, вытоптаны. Центр относится к регионам как к своим сюзеренам, назначает их, ввергает в опалу... А феодализм обычно и вызывает к жизни буржуазные революции, так что средний класс у нас вполне революционный... За что вы не любите буржуа, Дмитрий?

— *За буржуазность, Александр Андреевич. Они, кроме пузичка, ничем не дорожат.*

— Ну, ради пузичка в истории часто совершались великие дела...

— *У вас есть прогноз относительно сценария смены власти?*

— Какой тут может быть прогноз... Особенность путинцев знаете в чем? Вот, допустим, Иван IV: разогнав своих бояр, он призывает к трону всякую сволочь. Басманова, Малюту... Преторианцев, так сказать. Это царева гвардия, не считающаяся ни

с чем, топчущая всех направо и налево, методы у нее самые кровавые, интересы самые низменные. А потом из потомков этой сволочи вырастет русское дворянство — блестящий привилегированный класс, интеллектуальная гордость страны. Дворянство это хиреет, функция его становится чисто представительской, вырождение полным ходом и всяческий декаданс. Тогда приходят пролетарии — среди них, не отрицаю, тоже много людей вроде Малюты или Басманова; и рубят, и топчут, и грабят. Из их детей вырастает элита нового государства — блестящая культура семидесятых годов, интеллектуалы, проектировщики будущего, мыслители, которых я застал. Они создают небывалую военную мощь, лучшую в Европе литературу, — но начинают вырождаться, деградировать, и их-то дети и составляют путинское окружение. Это люди декаданса. Смена правящего класса до сих пор не произошла. Бывшие комсомольцы — дети вырождения — расхватили собственность, вот и вся разница. Когда появятся новые люди — не знаю. По всей вероятности, Путину и команде удастся пропихнуть кого-то своего. Они закрутят гайки, приржавеют к этим гайкам, будут неуклонно деградировать и увлекать за собой страну. Таков наиболее вероятный сценарий.

— *А есть версия, что Путин поставил на кубанского губернатора Ткачева... Человека радикально-националистических воззрений...*

— Чушь по двум причинам. Во-первых, никаких радикально-националистических воззрений у Ткачева нет. Такой же оборотень, как все красные вожди. Во-вторых, даже если путинцы примут Ткачева

как компромисс — он, мол, воцаряется и не притесняет их, — эту кандидатуру не утвердит Кондолиза Райс.

— *Больно много дела Кондолизе Райс и ее команде до российской власти. Сколько говорили: «Запад не позволит»... И когда он чего не позволял?*

— До власти там, конечно, никакого дела нет. Но у России есть газовый вентиль, и кто на нем сидит — Америке очень не безразлично. Российская власть — при легальном, подконтрольном варианте ее передачи — будет утверждаться в Штатах, с этим пока ничего не сделаешь.

— *Знаете, одного вашего противоречия я все-таки не понимаю. Вы говорите о железной пяте государства, о том, как страшно попадать в его клещи, — и при этом выступаете апологетом империи, позитивно высказываетесь о Сталине, в оны времена приглашали оппонентов под фонарь...*

— Ну а кто без противоречий? Вы? Робот японский, и тот не лишен внутреннего конфликта... Это противоречие глубже, чем кажется. Почти вся моя семья была при Сталине уничтожена. А двоюродные бабки и деды Сталина принимали, хотя были среди них «смолянки» — знаете Смольный институт? Прежде чем сделаться символом русской революции, он был символом русской аристократии. И многие русские аристократы, кстати, были сторонниками Сталина, даже потерпев от него. Я для себя это объясняю так... Вот вышла недавно замечательная книга Станислава Куняева — о Мандельштаме, Заболоцком и Данииле Андрееве. Три поэта, фактически убитые лагерями и тюрьмами: Мандельштам в лагере умер,

Заболоцкий чуть не сошел с ума, Даниил Андреев провел в камере Владимирской тюрьмы двенадцать лет и умер через год после выхода на волю. И все они, как показывает Куняев, сознавали величие того, что с ними происходит. Нет, не прощали, не приветствовали, — но и не ограничивались тем, чтобы проклинать своих тюремщиков. Они чувствовали мощь тектонических сдвигов, которые их поглощают.

— *«Величие участи» это еще называется.*

— Да. Как Эмпедокл, прыгнувший в кратер Этны.

— *Сомнительное утешение.*

— А я и не говорю, что несомненное. Я не поручусь за себя, что на дыбе или на крюке, подвешенный за ребро, мог бы восхищаться тектоническими сдвигами. Но есть разница — гибель в великой катастрофе или жалкая смерть в углу, в подворотне. СССР был государством такого типа, что и жизнь, и смерть, и бытовые унижения в нем приобретали особую подсветку. Это была не просто империя. Это был «советский проект» — самое умозрительное государство в мировой истории. Государство сконструированное. Вот леса — они растут и опадают сами по себе, и так живет большинство стран. А СССР — машина, которая производила особые отношения между людьми. Только машина эта была так устроена... ну, я авиационный инженер по образованию, мне эти сравнения ближе, — представьте себе огромный самолет, который мало того что летит, но еще и постоянно дозаправляется в воздухе и сам себя при этом совершенствует. Сталин был последним авиаконструктором, способным этот

самолет на лету перестраивать. После него пришли люди, утратившие навык модернизации. Самолет стал снижаться. Первым признаком этого снижения была Пражская весна — об этом, собственно, «Надпись».

Я помню это умозрительное государство. Я был зачарован им. В нем была иерархия ценностей, была настоящая социальность, выражавшаяся в заботе о человеке; был идеализм. Было и многое другое, что не заслоняет мне величия проекта.

— Ну, Америка, которую вы недолюбливаете, — тоже насквозь умозрительный проект. И ничего, летит, не падает.

— Когда она стала умозрительным проектом? Америка научилась моделировать себя и собственную историю только годах в семидесятых XIX века. А до того — обычное было грабительское государство, сначала истребило всех бизонов, потом всех индейцев... То, что придумали отцы-основатели, примерно до Линкольна оставалось пустым звуком. Вот после гражданской войны — очень кровавой и жестокой, кстати, — Америка начала превращаться в проект. И именно с этого времени стала по-настоящему привлекательна для русских, тоже всю жизнь мечтавших об идеальном государстве, общественном договоре... Помните, даже Блок был ею зачарован — «Так над степью пустой загорелась мне Америки новой звезда»... Опять вы сейчас напишете, что я пропитан символистами.

— Напишу, конечно. Я ведь отлично вижу, где корни всей вашей литературы. Проза Серебряного века, Сологуб, «Творимая легенда»... Белый отчасти, Зиновьева-Аннибал...

— Я вас разочарую. Я не читал этого всего. Я авиационный инженер, как и было сказано.

— *Хорошо, поверю на слово. Меня вот что интересует в вашей биографии: сейчас-то легко быть оппозиционером, а в 1987 году, когда вы начали все громче возражать против перестройки? Что вас тогда привело в этот лагерь, заставило создавать газету «День», организовывать «Слово к народу»?*

— Думаю, моя беспрецедентная удачливость в советское время.

— *Очень откровенное объяснение.*

— Да нет, не в смысле процветания... У меня было не больше, чем у всех. Удача моя была в том, что я проехал все войны Советского Союза, тайные и явные. Почему я — соловей Генштаба, как меня называете вы и многие ваши остроумные коллеги? Потому что был в Эритрее, в Афганистане (раз шестнадцать), в Камбодже — везде, где воевал или помогал воевать Советский Союз. Я видел взрывы атомных бомб на полигонах. Я был зачарован этой мощью. Я видел весь Союз, все республики, и поныне тянущиеся друг к другу, не могущие перенести искусственного, вымороченного разделения... которого, разумеется, можно было избежать! И видя эту мощь, я уже не мог преодолеть ее очарования. Отсюда и ужас по поводу ее распада. Первые статьи об этом я начал писать в восемьдесят седьмом.

— *Вам не кажется, что деление на либералов и государственников искусственно, что оно от дьявола? Всякое ведь человеческое сообщество можно расколоть по этому принципу, вбить клин в эту трещину... Американцы сейчас так делятся, только что — нем-*

цы, до этого — израильтяне... В мире ведь примерно пополам государственников и либералов.

— Я вообще полагаю, что все бинарные расколы искусственны. Всех поровну — мужчин и женщин, архаистов и новаторов... Нужна сильная, централизованная, цивилизованная и притом просвещенная власть. Централизованная — потому что большая страна иначе не выживет. И с силой, с централизацией у нас все бывало неплохо. С цивилизованностью и просвещением — значительно хуже. Нормальная власть должна уметь просчитывать свое будущее: у Советского Союза такие футурологи были — например, мой покойный друг Ильенков, сильнейший мыслитель. Власть должна разжигать на своей периферии даже революции, потому что без нигилистов, без отрицателей сильное государство не живет. Власть должна быть не просто терпима к оппозиции — она обязана ее формировать. Но этого сочетания силы и интеллекта у нас пока не видно и взять в обозримом будущем негде. Мы все состоим из противоречий, и «цветущая сложность» — любимый термин Константина Леонтьева — как раз в том и состоит, чтобы с этими противоречиями жить. Делать из них не источник раскола, а движущую силу, стимул развития. У нас столько наций, столько швов и шрамов... и все равно червь срастается, разрубленная земля становится единой. Я слышу тоску пространств. У меня есть знаете какая метафора на этот счет? Вот есть река, и по ней плывет огромная льдина. На просторе, когда берегов не видно, она плывет монолитно. В узком месте — дробится, раскалывается, ледяной кашей проходит через горло-

вину. Но потом опять срастается, сливается — так и Россия.

— *Я не понимаю, когда вы успеваете писать, а потому не спрашиваю о хобби.*

— Хобби было до середины восьмидесятых — ружейная охота. Это было любимое мое занятие, но потом я случайно подстрелил журавля. С тех пор охочусь только на бабочек. Бабочки — главное увлечение после литературы и политики.

— *Да, про это только ленивый не писал. Бабочек не так жалко?*

— Не так. Хотя находит на тебя иногда такое восхищение перед всем живым, такое преклонение перед силой жизни, что не только бабочку — вошку на себе убить не можешь! Поймаешь... и бережно пересадишь на другого.

Сергей Соловьев

Если бы Сергей Соловьев не стал режиссером, он был бы первоклассным писателем — его мемуары и устные рассказы увлекательней всякого триллера и смешнее многих комедий. Правда, тогда он не снял бы «Ассу» и «Ассу-2», «Наследницу по прямой» и «Спасателя», «Избранных», «Чужую белую и рябого» и «Сто дней после детства».

— А главное, я не смог бы стать автором «Анны Карениной», потому что она уже написана.

— *Но она и снята не раз.*

— Да, как раз в 1967 году вышла экранизация Александра Зархи с гениальной Самойловой в главной роли — я не представлял себе более точного попадания в типаж. И тем не менее, именно тогда, почти сразу после удачной — подчеркиваю — версии, мне явилась идея сделать свою «Анну». Обстоятельства помню отчетливо: предполагался выезд на дружескую дачу. Дачи не оказалось, был садовый дом-курытник с теплой водкой, которая не пошла, и книга без первых двадцати страниц и обложки — хозяйская. «Анну Каренину» я, естественно, читал в юности, но почему-то она впервые подействовала на меня именно там, когда я взял книгу, раскладушку и улегся загорать. Может, какую-то роль сыграло то, что я жестоко перезагорал,

покрылся волдырями, — и в этом красном солнечном тумане мне представилось, что надо непременно снять «Анну Каренину». Почему? Потому что это роман-картинка, а не роман-идея. Нет там мысли семейной, которая виделась автору, или, верней, есть все сразу: это роман не за реформы и не против, не за белый свет и не против белого света. Это чрезвычайно убедительная, воздушная, световая картина — готовый фильм. И я возмечтал снять его именно так, как он написан — без концепций, потому что от концепций вообще один вред, этим ты заранее обедняешь сделанное, материал должен сам тебя вести, а не подчиняться твоему насилию... В лучшем случае можно придумать смысл задним числом.

Потом я пришел на «Мосфильм» — сразу же в эту комнату, где мы с вами разговариваем. Это бывший кабинет Пырьева, и вышло так, что на всех своих картинах я обитал здесь, а фото его повесил из благодарности за кабинет. Я снял «Егора Булычова», страшно разруганного и напечатанного в количестве двенадцати копий. После этого меня выперли из кино, я перешел на телевидение и снял «Станционного зрителя», за которого меня выперли и с телевидения. Это был год семьдесят третий, да? Поскольку картина подверглась полному разному и была фактически снята с показа, выдвигать ее на фестивали не предполагалось, и тогда ее выдвинул на Венецианский фестиваль западногерманский копродюсер. И она получила «Золотого льва». Теленачальник Лапин вызвал меня к себе, чтобы этого льва не отдать, а показать: брать его себе я не мог, но посмотреть не возбранялось.

Он спросил, нет ли замыслов. Я говорю: есть, «Анна Каренина», но не просто как сериал, а подряд, строку за строкой, как написано, фактически без сценария, серий на пятьдесят, на сто... Он спросил, есть ли в мире прецеденты, — я ответил: нет. И он загорелся: «На это я подписываюсь!» Оставалось, по тогдашним правилам, договориться с Ермашом: кинорежиссерам перед уходом на телевидение требовалась как бы вольная. Ермаш услышал, что картину разрешил Лапин, побагровел и сказал только: «При живом Зархи?!» И замысел отложился на неопределенное время.

— *На двадцать лет.*

— Почти. В начале девяностых «Мосфильм» стоял пустой, гулял ветер — нужно было любое производство, чтобы поддержать студию, лучше бы масштабное, костюмное, чтобы всем дать работу; и я запустился с «Анной», после чего размеренно попадал под все финансовые кризисы, случавшиеся в стране. Анна Каренина попала под поезд единственный раз, а я — под все паровозы, и после каждого картина запускалась снова и опять закрывалась, и до прихода Кости Эрнста на ОРТ не было снято ни кадра. Потом он заинтересовался экранизацией, я стал ее делать, мы стали спорить — и доспорились до того, что я предложил разойтись по-дружески. Эрнст выговорил себе право однократного показа телеварианта, а сумму, которой не хватало, я должен был искать сам. В позапрошлом году я ее нашел и доснял картину фактически за год: зимняя натура, летняя натура — и все. Стремительно. Так что когда я читаю, что вынашивал «Анну» в муках, меня это забавляет: были не муки, а цирк, фейерверк. Сейчас

картина закончена и перешла в руки прокатчика — он хочет переждать лето и выпустить фильм в сентябре-октябре. Вместе с «Ассой-2», потому что это диалогия: я до сих пор не решил, ставить ли в «Анне» свою фамилию в титрах или написать, что это постановка режиссера Горевского, героя «Ассы-2», сыгранного Маковецким.

— *Батюшки, а кто же у вас Левин?*

— Гармаш. Немного неожиданный, но увидите — блестяще справился.

— *Теперь я в принципе понимаю, почему вы взялись за «Анну», но почему за «Ассу-2» — тайна.*

— Никакой тайны, все логично. Первая «Асса» возникла из желания снять индийское кино. До этого я снял «Чужую белую», а картина, собравшая восемь миллионов рублей, считалась по тем временам малоуспешной в прокате. Да что ж я, не смогу снять кино, чтоб зрители ломались и на люстрах висели? Главное — придумать модуль, модель; я решил взять самый кассовый и народный образец — индийский. Что для этого нужно? Красавица, богатый старик, дерзкий бедняк, море песен и танцев. А дальше все стекалось одно к одному: из воздуха соткался Сергей Бугаев — Африка. Я до сих пор не помню, откуда он взялся. Отвел меня на концерт Цоя. Мне было 42, и я думал, что уже нашел все нужное и интересное мне, — но Цой зацепил, мы пошли выпивать, и я попросил его не петь «Перемен!» до выхода фильма. А потом мне дали послушать БГ, оказавшегося как нельзя более кстати. Ведь он, если вдуматься, и есть наш аналог индийской музыки — одновременно сакральной и популярной.

— *В жизни бы не придумал такой аналогии.*

— Ничего, у самого Бори голова устроена еще оригинальней. Когда после «Ассы» вышла первая виниловая пластинка «Аквариума» с предисловием Вознесенского, — где было написано, что Боря «по-хорошему худой», а я с тех пор стал называть себя «по-плохому толстым», — он мне ее надписал очень странно: «Сереже Соловьеву, отцу новой стагнации. 1987». Я решил, что он спятил: какая стагнация в восемьдесят седьмом?! А двадцать лет спустя обозрел окрестности и еще раз понял, что Боря отнюдь не прост.

И дальше все опять покатилося случайно: Алика сидит за убийство, она была беременна, у нее родилась дочь, которую, видимо, забрали; раз у нас с Друбич есть дочь, пусть сыграет. Потом в сюжете нарисовался Шнур, потому что Горовой же хочет снять актуальную «Анну Каренину», а кого он может пригласить сегодня из актуальных людей? Только Шнура...

— *И он написал вам музыку к «Анне»?*

— Э, нет, я не Горовой. В «Анне» нет песен, кроме русских народных, и то это не песни, а русские народные вои. Сильнее любого рока. Что получилось — до сих пор понятия не имею, хотя картина смонтирована, готова к показу и выстрелит с «Анной» дуплетом. Они сравнительно небольшие — по два с половиной часа. Телеверсия «Анны» совсем другая по дыханию, а в кино все быстро, воздушно и несколько лихорадочно.

— *«Асса-2», я полагаю, довольно мрачная картина, если брать ваше ощущение от времени...*

— Я вообще оптимист, умею отвлекаться, но ощущение у меня действительно паршивое. Не только от России — от мира в целом. Происходит тотальная генная перестройка. На что-то гораздо более жестокое и примитивное. Но такие вещи нельзя объяснить — все, что у меня получилось в кино, я проинтуичил. «Наследница по прямой» в 1982 году закончилась пожаром и потопом, они не заставили себя ждать. «Дом под звездным небом», по-моему, обещает в финале тот несколько детский старобразный пафос, в который мы сегодня въехали. А «Избранные» оказались фильмом о предательстве интеллигенции, хотя задумывалась не авантюра даже, а афера...

— *По-моему, эта вещь у вас как раз из лучших.*

— Если так получилось — хорошо, но, ей-богу, чистый случай. Я разводился с женой и собирался жениться на Тане, ночевал здесь же, в этой комнате, и сюда пришел ко мне мой любимый бес-искуситель, Паша Лебешев, чей портрет висит напротив пырьевского. Он пришел и заговорщически зашептал, что колумбийский президент, по совместительству писатель, направил Брежневу письмо с просьбой посодействовать развитию колумбийской кинематографии, вот у него как раз и роман есть подходящий для экранизации... «Паша, — сказал я, — иди в задницу, дай спать». Но Лебешев не отставал: ты что, поедете с Танькой в Колумбию, год проживете там как короли, за это время здесь все рассосется и утрясется... О романе колумбийского президента я понятия не имел — это чудо, что он оказался вполне хорош. Кстати, Микельсен

в 1983 году был уже бывшим президентом, но мог по-прежнему все. Он предлагал позвать к нам третьим соавтором Габриэля Гарсиа Маркеса, жившего в соседнем доме, — но тут уж я уперся: работать с живым Гоголем у меня не хватило бы наглости. А когда картина была закончена, оказалось, что она про нас, про то, как мы все сдали, — но ни я, ни Филатов, ни даже экс-президент Колумбии не догадывались об этом.

— *Вы ведь способствовали становлению не только колумбийского, но и казахского кинематографа. Что там сейчас происходит с этой знаменитой новой волной, которую вы мимоходом сформировали, снимая «Чужую белую»?*

— Она цела и активна и дошла до степеней известных. Как говорят в Казахстане, если казах не начальник, он не казах. Все участники тогдашнего выпуска киноинститута успели побывать в начальниках — культурных и не только. Временно утрачивали адекватность. Потом переставали быть начальниками и тут же обретали ее обратно. С российскими начальниками, насколько я знаю, так не бывает. Кстати, один из моих тогдашних учеников недавно снял «Анну Каренину» на современном казахском материале.

— *Начинает казаться, что это единственный живой роман в русской литературной традиции.*

— Для тех, кому тридцать, может быть, так оно и есть. Я уже говорил о генной перестройке — наверное, вырастает поколение, которому «Герой нашего времени» уже ничего не скажет. Но я продолжаю читать все эти тексты, как партитуру: все

проигрываю про себя. И потом, все слишком связано: кому-то устаревшим покажется Лермонтов, но без Лермонтова как понять Врубеля?

— *Как по-вашему, почему только вы умеете снимать Друбич? У нее были удачные роли в других фильмах, но редко и не того уровня...*

— Наверное, я понимаю ее с какой-то одной, но главной стороны. Когда я впервые увидел ее тринадцатилетней, в ней уже был поразительный покой. Самодостаточность. Она ни перед кем не оправдывалась и никуда не рвалась. Естественное сознание правоты. Видимо, это в ней главное. Вот Аня — наша дочь — очень похожа на нее, но уже другая: гораздо импульсивнее, вечно в стремлении куда-то...

— *На какой картине вы чувствовали себя лучше всего?*

— Пожалуй, ни на одной не оттягивался так, как на «Черной розе».

— *А по-моему, простите, полный распад сознания...*

— Не распад, а глубинная перенастройка. Причем не на более примитивный, как сегодня, а на более сложный и свободный уровень.

— *А с каким чувством вы вспоминаете годы своего председательства в Союзе кинематографистов? Что получилось, а что и не могло получиться?*

— Я никогда не воспринимал союз как профсоюз — всегда как цех, гильдию, занимающуюся не распределением материальных благ, а расстановкой моральных акцентов. Это получилось. В отличие от большинства творческих союзов, наш — кинемато-

графический — тогда не раскололся, все трещины пошли уже после меня. Я пошел даже на то, чтобы покаяться за Пятый съезд, действительно слишком радикальный, когда многих хороших людей шельмовали и освистывали просто от внезапного избытка свободы. И еще: мы честно пытались вернуть систему проката. И вернули бы — были договоренности с Ельциным, с Лужковым, не один час продолжались разговоры. Все это было подорвано — думаю, целенаправленно.

— *Кем же?*

— Силой, желавшей перехватить власть и скомпрометировать тогдашнее руководство.

— *Кто вам нравится из младшего поколения — начиная с Балабанова, скажем?*

— Балабанов, кстати, нравится. Он интересный: я его позвал председателем жюри на Ханты-Мансийский фестиваль. Он должен был вручать призы и сказал что-то вроде: будь моя воля — я бы не только ничего вам не давал, но всех бы вас с удовольствием разогнал, но раз уж так вышло — берите... Он не может не сказать гадость и умеет быть удивительно противным. И вдруг недавно я звоню ему и спрашиваю: как дела? Он говорит: все было бы совсем паршиво, если бы не отличная молодая поросль. То есть на деле-то он ее видит и умеет ценить, и она действительно есть. Они делают ни на что не похожее кино — очень минималистское, из ничего. Мейерхольд, понимавший в режиссуре, я думаю, больше всех в XX веке, говорил: мастерство — это построить дворец на острие иглы. Как Годар в «Жить своей жизнью» — фильме, снятом за десять дней. Я все время учу студентов: кино не должно стоять

вообще ничего. Даже пятьсот долларов — очень много. Берите и снимайте мир как он есть, придумывайте, изощряйтесь... Невозможно делать кино с расчетом на кассу, невозможно жестко соответствовать «формату»: хочешь насмешить Бога — поделись своими планами. Никита Михалков о не понравившихся картинах пренебрежительно говорит: ну, что получилось, то и задумано. А для меня это комплимент: я никогда не знаю, что получится. И никогда ничего не задумываю — есть туманное ощущение, смутное изображение, проступающее только к концу работы...

— *Не могу напоследок не спросить вас вот о чем. Почему именно в российском кино так много сломанных судеб, запоев, дебошей? Почему для русского художника почти норма — жить и гибнуть, как ваш друг Шпаликов?*

— Я сам не понимаю, почему мы столько пили. Была такая мода: режиссер на площадке должен быть слегка пьян, трезвенников не уважали, считали скучными... Кажется, даже Тарковский выпивал на ранних фильмах, а для Кончаловского это было обычное дело... Отчетливо помню, как по дороге из ВГИКа в общежитие, где кипели главные споры и обсуждались замыслы, мы на двоих с приятелем покупали бутылку коньяка за четыре двенадцать и два слоеных язычка по семь копеек — и, разговаривая и останавливаясь, по дороге эту бутылку выпивали; и это был только разгон. Я был младший на курсе — сразу после школы, восемнадцать лет. Меня считали салагой. Чтобы как-то это опровергнуть, я вынужден был геройствовать. Поражаюсь, как ос-

тался жив. Однажды мы в компании пролили водку на полированный стол, а утром мы увидели, что она разъела полированную поверхность: дело даже не в том, сколько мы пили, но — чего. Потом эта мода кончилась. Появилась, напротив, мода на трезвость. Сегодня в моде лояльность и спортивность, но я не думаю, что это намного лучше запоев.

— *Соблазн лояльности для вас не существует?*

— Знаете, когда здесь был кабинет Пырьева, он подзывал своего оператора и показывал в окно на госдачу Хрущева, прямо на той стороне. И говорил: вот бы там побывать! Оператор говорил: да кто же вам даст там снимать, в гостях у первого секретаря? А Пырьев отвечал: мне бы не снимать, мне бы только ножку поставить... По-моему, это очень простодушное желание. Трогательное. Совершенно не мое.

Игорь Старыгин

Главной звездой четырнадцатого детского кинофестиваля в Артеке был Игорь Старыгин, отметивший здесь шестидесятилетие и не скрывавший этого.

Старыгин представлял еще одного юбиляра. В программе «Золотая фильмотека» демонстрировался фильм Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника». Ровно сорок лет назад, в 1966 году, молодой и никому неведомый драматург, а по совместительству учитель Георгий Полонский написал киноповесть «Журавль в небе». Ростоцкий ее прочел и в 1967 году снял один из самых популярных советских фильмов. Примерно год он обдирает себе бока, проходя сквозь цензуру раннего застоя. Наконец в 1968 году «Понедельник» вышел и, по опросу «Советского экрана», стал фильмом года. В августе 1968 года случилась Чехословакия — по воспоминаниям Полонского, картина успела проскочить чудом. Она давно разошлась на цитаты: «Толстой не заметил, Герцен недопонял... Кажется, в истории орудовала компания двоечников!». «Не ложите зеркало в парту! — Ложат и ложат!» «Бумага стерпит все. Можно написать на ней “На холмах Грузии”, а можно клязу на соседа». «После Петра Первого России очень не везло на царей». И хрестоматийное: «Счастье — это когда тебя понимают».

Старыгин сыграл в «Понедельнике» первую большую роль — молодого, гладкого, самоуверенного циника Костю Батищева. Он с некоторой неуверенностью представлял «Понедельник» нынешним детям: «Что они поймут?!» Но они поняли. В день бывало по два показа, и Старыгин с Черновым (Сыромятников, если помните) ездили по артековским кручам с площадки на площадку. То, что вы сейчас прочтете, — не мое интервью с главным Арамисом мирового кино, а запись обсуждения «Понедельника» со старшими отрядами Артека. Дети нормальные, не продвинутые, в основном из российской и украинской провинции. Возраст — 12-15 лет. Старыгин рассчитывал быстро ответить на пару вопросов, почитать стихи и уйти. Его не отпускали три часа. Он пропустил ужин, дети сорвали отбой. Но мероприятие стоило того.

— *Игорь Владимирович! Вот я посмотрела кино... И мне очень понравилось... Но про что этот фильм, спроси меня кто-нибудь, — я не скажу.*

— И я не знаю.

— *Но вы попробуйте.*

— Знаете, для меня... это фильм про историка, который больше не может преподавать эту историю. Он смертельно от нее устал. От того, что у него в классе сидят свои лейтенанты Шмидты и их будущие судьбы. От того, что учебники переписываются — он директору про это говорит. От того, что его лучшие ученики вырастают карьеристами и пошляками. Про усталого идеалиста, так бы я сказал. И он не знает, стоит ли ему приходиться в школу в следующий понедельник. Я это так сейчас понимаю, потому что тоже не уверен — стоит

ли мне приходиться в театр и в кино. И смотреть, и играть.

— *Но вы приходите же!*

— Я играю в антрепризах, мне этого хватает на жизнь. А почему я не снимаюсь в кино, в сериалах, в частности... Я сыграл бы хорошую, смешную характерную роль. Очень хочу покомиковать, я это умею. Но таких ролей мне пока не предлагают. Что до сериалов... Вот, знаете, почему я по Москве не езжу на машине? Жена водит, я при ней штурманом: «Катя, сейчас тебя подрежут справа! Катя, пропусти этого!» Потому что я раньше участвовал в мотогонках. Я привык ездить довольно быстро. И поэтому при нынешней Москве, с ее пробками и полным отсутствием всяких правил, я предпочитаю передвигаться как зритель. Ответил я на вопрос?

— *А как вы понимаете название «Доживем до понедельника»? Потому что мне двенадцать лет, и, тем не менее, я его никак не понимаю!*

— Взрослой публике мне проще было бы это объяснить. В России понедельник всегда — очень тяжелый день. (Смех, аплодисменты.) Я рад, что вы понимаете. Но дело же не только в том, что людям тяжело вставать после пьянки или на работу идти не хочется. Понедельник — это время определенного разочарования. И сам фильм — он снимался в похожей ситуации. Были довольно веселые шестидесятые годы, потом все закончилось. Наступил тревожный и холодный понедельник. Что делать? Ничего не делать, снова идти в школу. Я не первое разочарование в своей жизни встречаю. Я доживаю уже примерно до третьего понедельника в обще-

ственном, так сказать, смысле, а сколько их было в частном, только моем... и в театре, и в кино... Ничего, дожили до понедельника, доживем и до воскресенья. Тоже в широком смысле.

— *У вас с Остроумовой... ну, вот с этой красивой... ну, было?*

— Что было?

— *(Краснея.) Роман.*

— Девушка, ну вот и вы туда же! Меня миллион раз об этом спрашивали, я не знаю уже, почему всем так показалось! Видимо, как-то мы подошли друг к другу, хорошо смотрелись вместе. Она была младше меня на два года, я на четвертом курсе ГИТИСа, она на втором. Компания была общая, да, — Печерникова, Чернов, Оля, я, остальной класс, тоже в основном студенты... Но у нас ничего не было, честное слово! Она сейчас жена Гафта, прекрасная пара, дай бог им счастья.

— *А Шестопал? Почему я его больше не видел нигде?*

— С Шестопалом сложнее, его играл Валера Зубарев. И если у меня это была первая большая роль, то он уже был опытный артист, хотя и десятиклассник. Ростоцкий заметил его на фильме «Дубравка», ныне совершенно забытом. Он был странный мальчик, очень замкнутый. Что и по роли требовалось. И в компанию классную не входил, держался отдельно. Потом стал поступать во ВГИК. И его не взяли. Под потрясающим предлогом: он все уже умеет, состоявшийся артист, его учить нечему. Он сыграл еще в двух или трех фильмах, — насколько помню, «Сыновья уходят в бой»... И все, и переквалифицировался — видимо, был все-таки

травмирован этим отказом. Стал предпринимателем. Тогда тоже были предприниматели, хотя и в тени. Сначала — что-то связанное с мясом, мясничеством, потом уже не знаю. Думаю, сейчас он богаче меня.

— *«Если к другому уходит невеста...»*

— Да, «неизвестно, кому повезло».

— *А как вам с Тихоновым работалось? Все-таки он был звезда, а вы дебютант...*

— С Тихоновым особая история, он ко мне прохладно относился, что для роли очень хорошо. Причина была в том, что его и Нонны Мордюковой сын учился в нашей школе на Плющихе, в сорок седьмой, она была и элитной, и бандитской, что вообще-то часто сочетается...

— *Мы знаем, сейчас тоже так.*

— И вот его сын — он периодически попадал в какие-то истории. Уже тогда, и по характеру, и по компаниям, в которых он крутился, было видно, что жизнь у него будет нелегкая и, возможно, короткая, что и подтвердилось, к несчастью. Он странные вещи делал — мог, например, ботинок чинить прямо на уроке, за партой, в порядке демонстрации... И вот педсовет решает: надо вызвать родителей! Но Мордюкова у нас уже была — давайте вызовем Тихонова! Тихонов, Тихонов! Главная советская звезда! «Дело было в Пенькове», князь Андрей, «Оптимистическая трагедия»! Вызывают. Вся учительская мажется, красится, помадится. Я на правах председателя совета дружины встречаю его внизу и веду к педагогам. Происходит разбирательство по поводу ботинок. Тихонову крайне неловко, он всей

ситуацией тяготеется, а я тут же у дверей — думаю, некоторая прохладца в отношениях шла оттуда. Но уверяю вас, никакой звездности, заносчивости и прочих неприятных черт я никогда за ним не замечал; он просто держит дистанцию, что для профессионала нелишне.

— *Как вы вообще в кино-то попали? Может, посоветуете что? Многие в зале тоже хотели бы...*

— Здесь я плохой советчик, потому что попал совершенно случайно. Вообще профессии, выбранные случайно, без дальнего прицела, часто оказываются именно вашими — только такой совет могу дать. Слушайтесь случая. У меня самая стандартная история. Была девушка, которая мне нравилась. Она ходила в театральный кружок. Я стал ходить за ней. Потом пошел поступать в ГИТИС и поступил. Я не хотел, честное слово! Я вообще хотел быть разведчиком, шпионом. Дипломатом в крайнем случае, это часто совпадает.

— *Но вы же все равно потом сыграли дипломата. Я где-то видела...*

— Это был не дипломат, а дипкурьер. Товарищ Нетте, человек, впоследствии пароход. В фильме «Красные дипкурьеры». От этого фильма — вполне приличного, кстати, Вилен Новак его снимал — у меня в памяти сохранилась единственная сцена, в которой у меня с невестой, прелестной и совсем молодой Наташей Вавиловой, должна была произойти первая брачная ночь. Советский дипломат, героический человек и впоследствии пароход не мог, конечно, тем более в 1977 году, участвовать в откровенной сцене. Всех, кто был на площадке,

оттуда вытурили, остались мы с Вавиловой, осветители, оператор и режиссер. Лежим, прикрытые простыней. Режиссер присел на кровать и очень долго объяснял задачу. Ясно было, что ему не хотелось прерывать объяснение. В общем, получился предельно целомудренный план. Вавилова была фантастически хороша, это было самое сильное впечатление от работы над картиной. Мне к тому времени уже расхотелось быть шпионом.

— *Вы когда Арамиса играли, вы специально учились на лошади? Или вас потому и отобрали, что вы уже умели?*

— Да никто меня особо не отбирал, конкуренции почти не было, и даже не сказать, ребята, чтобы я сильно хотел играть в этой картине. Никто же не знал, что она будет хитом, легендой, как ее теперь называют. И я, и Боярский, с которым я познакомился еще на пробах, мы крайне легкомысленно к этому отнеслись. И к лошадям относились соответственно — никто не понимал, что это может быть опасно. На съемках даже врача не было, он появился только, когда Смехов, — вечно жаловавшийся на старость, усталость и вообще неспортивность, — действительно серьезно упал с лошади. Ему дали ахалтекинца, все предупреждали: конь смирный, но если понесет... И он понес. Там был луг, прорезанный канавами, достаточно пересеченная местность, — перед одной канавой конь остановился, не желая прыгать, и затормозил столь резко, что Смехов, перелетев через его голову, летел еще метров десять. Он потерял сознание, лежит весь белый — вот тут группа перепугалась по-настоя-

щему. У меня особых проблем не было, мой конь был Арик, полностью Аэропорт, вполне ладили... И как-то все на картине шло легко — мы абсолютно не думали, что ее запомнят. Половина текста импровизировалась в компании. Особенно друг друга подкалывали мы со Смирнитским: «Ах, воздух монастыря! Как меня всегда сюда тянуло!» — «Ну еще бы, монастырь-то женский»...

— *Как по-вашему, до сколько можно играть в театре?*

— До одиннадцати вечера обычно, а что?

— *Я не про то! Я про возраст!*

— Я сейчас так волнуюсь перед выходом на сцену, такой мандраж меня пробирает в шестьдесят лет, что, думаю, еще немного — и хватит.

— *Подождите, но Раневская же играла до восьмидесяти! И многие до девяноста...*

— Я выходил на сцену с Раневской и Пляттом в спектакле «Дальше тишина». Это была для обоих последняя большая работа. У меня была крошечная роль официанта. И я не смог ее играть, попросил меня снять с постановки. У меня поднос плясал и руки тряслись. От жалости к ним, от страха за них... Нет, я уйду вовремя. У меня нет зависимости от сцены. Или я умею с ней справляться.

— *Из всех артистов, с которыми вы работали, кто на вас наибольшее впечатление произвел?*

— Даль.

— *Чем?*

— Тем, что это был самый жесткий человек, которого я видел. К себе жесткий, к людям. Ничего, кроме совершенства, его не интересовало. Мания

совершенства, упертость фантастическая. Он не терпел легкомысленного отношения к работе. Приезжал на площадку секунда в секунду. Когда прима, знаменитая актриса, задержалась на час, — он дождался ее появления на площадке и громко, чтобы все слышали, сказал: «Я с этой звездой — он выразился грубее — играть не буду!» И уехал. Таких историй было у него много. Он мучил себя и всех. Я никогда не видел человека, столь далекого от традиционного актерского образа: никакой богемности вообще, никакой расслабленности. Он буквально изничтожил себя в считанные годы, никогда ничем не был доволен, — не знаю, легко ли жить с таким человеком и играть с ним, но не преклоняться не могу.

— *Можете вы дать нам какой-то совет, как жить вообще? Вывод какой-то, который вы для себя сделали?*

— Ну, я не люблю рецептов. «Счастье — это когда тебя понимают», так что старайтесь понимать. Наверное. Надо как-то привносить человечность в последовательно бесчеловечный, жестоко устроенный мир. Как-то растапливать его, что-то такое в нем делать... чтобы можно было дышать. Как-то перемигиваться во мраке. И еще — вот на «Понедельнике» я понял, это меня Полонский научил, что надо иногда бросить кость, чтобы сохранилось главное. Это он так формулировал. Нарочно написал несколько реплик, которые выбросили бы наверняка, — чтобы отвлечь на них внимание и сохранить главное. Так и вышло. Я не знаю, как это объяснить применительно к жизни, но... в общем,

бросайте кости, заводите их специально, и тогда сэкономите главное. А, да, вот еще совет: старайтесь меньше зависеть от того, что про вас говорят. От внешних обстоятельств вообще. Но это только с возрастом получается.

— *Почему вы до сих пор не народный?*

— А надо?

— *Ну приятно же, наверное.*

— На народного надо документы подавать. А я не хочу.

— *А правда, что вас Путин с днем рождения поздравил лично?*

— Телеграмму прислал. Ее на празднике зачитывал ведущий, думая, что это шутка, — с комическими, пародийными интонациями. К концу понял, что не шутка, и интонации резко поменял.

— *Почему он вас поздравил? Он же не всех... Может, за желание быть разведчиком?*

— Скорее за то, что я все-таки пошел не в разведчики, а в артисты.

— *Как вам современные дети? Вы знаете вообще современных детей?*

— Одного знаю, внук. Очень умный. С техникой управляется гораздо лучше меня, хотя в десять раз младше. Мобильный осваивает стремительно, для меня это проблема. Всякую новую игрушку немедленно разбирает и разочарованно говорит: «Неинтересно». Как критик. Критики ужасны. Вон критик Быков сидит. Критик Быков, вас что, ничего не интересует?

— *Нет, почему. У меня тоже есть вопрос.*

— Ну давай.

— *Полонский в конце жизни говорил, что в реальности победил все-таки Костя Батищев, а вовсе не Мельников с Шестопадом. Вы согласны?*

— И да, и нет. В текущей реальности — к сожалению, да, победил. Но история, братцы, не кончается, как учил Илья Сергеевич Мельников. Это процесс вечный. А кроме того... находясь в этой аудитории... я далеко не так уверен, что победил именно Батищев. Сейчас еще только понедельник, вся неделя впереди.

2006

Леонид Филатов

Первое интервью Филатов дал мне в 1990 году, когда нас познакомил Алексей Дидуров. Второе — восемь лет спустя, после тяжелой болезни и нескольких операций. Он тогда возвращался к жизни, публиковал «Любовь к трем апельсинам» и получал «Триумф» — за то, что выжил, пережил травлю, болезнь, тяжелый духовный перелом — и не сломался. Потом мы встречались много раз, но, кажется, никогда он не говорил вещей столь важных, как в том втором разговоре.

— Леня, я помню, какой бомбой взорвалось когда-то ваше интервью «Правде», ваш уход от Любимова... Вас не пытались зачислить в «красно-коричневые»?

— Я никогда не боялся печататься там, где это не принято. Кроме того, больше у меня такого интервью нигде бы не напечатали. Я честно сказал, что мне противно это время, что культура в кризисе, что отходит огромный пласт жизни, который, кстати, я и пытался удержать программой «Чтобы помнили». Это сейчас, когда телевидение перекармливает нас ностальгухой, существует даже некий перебор старого кино, а тогда казалось, что все это отброшено... Зачислить меня никуда нельзя, потому что я признаю только дружеские, а никак не политические связи. Я люблю и буду любить Губенко вне за-

висимости от его убеждений. Помню, мы с Ниной* пошли в Дом кино на годовщину августовского путча. Честно говоря, я не очень понимал, чего уж так ликовать, ну поймали вы их, ну и ладно... Там стоял крошечный пикет, довольно жалкого вида, прокоммунистический, и кто-то мне крикнул: «Филатов, и ты с ними?» Я несколько, знаешь ли, вздрогнул: я ни с кем.

— *Я поначалу сомневался — проголосуете ли вы за Ельцина? Ведь зал «Содружества актеров Таганки» предоставлялся под зюгановские сборища...*

— Нет, господин Зюганов никогда не пользовался среди меня популярностью. На выборы я не пошел — ждал, пока придут ко мне домой с избирательного участка. Я болен и имею на это право. Ко мне пришли, и я проголосовал за Ельцина. И то, что народ в конечном итоге выбрал его, заставляет меня очень хорошо думать о моем народе. Он проголосовал так не благодаря усилиям Лисовского и Березовского, но вопреки им. Вся проельцинская пропаганда была построена на редкость бездарно — чего стоит один лозунг «Выбирай сердцем» под фотографией Ельцина, в мрачной задумчивости стоящего у какого-то столба... Почему именно сердцем и именно за такую позу? Здравый смысл народа в конечном итоге оказался сильнее, чем раздражение против всей этой бездарности. И я проголосовал так же, хотя в первом туре был за Горбачева. Я уверен, ему еще поставят золотой памятник. Этим человеком я восхищаюсь и всегда взрываюсь, когда его пытаются представить поверхностным болтуном. Он

* Жена Филатова, Нина Шацкая. — Д.Б.

четкий и трезвый политик — я помню его еще по поездке в Китай, когда он собрал большой десант наших актеров и режиссеров и впервые за двадцать лет повез туда. Как нас встречали!

— *Вы не скучаете по лучшим временам Таганки, по работе с Любимовым?*

— Я очень любил шефа. Я ни с кем, кроме него, не мог репетировать, — может быть, и от Эфроса ушел отчасти поэтому, а не только из-за принципов... Своей вины перед Эфросом я, кстати, не отрицаю — да и как я могу ее отрицать? Смерть — категория абсолютная. Но и после его смерти, сознавая свою вину, я говорю: он мог по-другому прийти в театр. Мог. В своем первом обращении к актерам он мог бы сказать: у меня в театре нелады, у вас драма, давайте попытаемся вместе что-то сделать, Юрий Петрович вернется и нас поймет... Он не сказал этого. И поэтому его первая речь к труппе была встречена такой гробовой, такой громовой тишиной.

У меня с Юрием Петровичем никогда не было ссор — он не обделял меня ролями, от Раскольникова я сам отказался, вообще кино много времени отнимало, — он отпускал. И после Щукинского он взял меня сразу — я показал ему Актера из нашего курсового спектакля «На дне»...

— *А Эфрос, насколько я знаю, в том же «На дне» предлагал вам Ваську Пепла?*

— Да, но я не хотел это играть. И вообще не люблю Горького. И Чехова, страшно сказать, не люблю — верней, пьесы его. Не понимаю, зачем он их писал.

Любимов отговаривал меня уходить. Отговаривал долго. Но остаться с ним я не мог — правда тогда

была на Колиной стороне, да и труднее было именно Коле. Хотя победил в итоге Любимов, да никто и не рассчитывал на другой вариант.

— *О таганской атмосфере семидесятых слагались легенды: время было веселое и хулиганское.*

— Конечно, это было чудо, а играть с Высоцким — вообще нечто невероятное, я ведь с ним в «Гамлете» играл... Правда, от моей роли Горацио осталось реплик десять, но это и правильно. Любимов объяснял: вот тут вычеркиваем. Я, робко: но тут же как бы диалог у меня с ним... «Какой диалог, тут дело о жизни и смерти, его убьют сейчас, а ты — диалог!» И действительно: Гамлет умирает, а я со своими репликами... Высоцкий не обладал той техникой, которая меня поражает, например, в Гамлете Смоктуновского, но энергетикой превосходил все, что я видел на сцене. Он там делал «лягушку», отжимался, потом, стоя с Лаэртом в могиле, на руках поднимал его, весьма полного у нас в спектакле, и отбрасывал метров на шесть! А насчет баек, — Любимов очень любил перевод Пастернака. Мы его и играли, хотя я, например, предпочитаю вариант Лозинского: у Пастернака есть ляпы вроде «Я дочь имею, ибо дочь моя», и вообще у Лозинского как-то изящнее, это снобизм — ругать его перевод. И мы с Ваней Дыховичным решили подшутить — проверить, как Любимов будет реагировать на изменения в тексте. Ваня подготовил одного нашего актера, игравшего слугу с одной крошечной репликой, на сцену не выходить: я, мол, за тебя выйду и все скажу. Там такой диалог: Клавдий — Смехов — берет письмо и спрашивает, от кого.

- От Гамлета. Для вас и королевы.
- Кто передал?
- Да говорят, матрос.
- Вы можете идти.

А Венька, надо сказать, терпеть не может импровизаций, он сам все свои экспромты очень тщательно готовит. Тут выходит Дыховичный и начинает шпарить следующий текст:

- Вот тут письмо
От Гамлета. Для вас и королевы.
Его какой-то передал матрос,
Поскольку городок у нас портовый
И потому матросов пруд пруди.
Бывало, раньше их нигде не встретишь,
А нынче, где ни плюнь, везде матрос,
И каждый норовит всучить письмишко
От Гамлета. Для вас и королевы.

«Городок портовый» применительно к столице королевства — это особенный кайф, конечно. Высоцкий за кулисами катается по полу. Венька трижды говорит «Вы можете идти» и наконец рывкает это так, что Дыховичный уходит. Шеф смотрит спектакль и потом спрашивает: что за вольности? А это мы, Юрий Петрович, решили в текст Пастернака вставить несколько строчек Лозинского. Он только плечами пожал: «Что за детство?»

Но вообще работать с Любимовым всегда было счастьем. Иногда он, конечно, немного подрезал актеру крылья... но уж если не подрезал, если позволял все, — это был праздник несравненный.

— Любимов вам звонил — поздравить с премией, спросить о здоровье?

— Нет. Я и не ждал, что он позвонит.

— *А кто ваши друзья сегодня?*

— Адабашьян. Боровский. Лебешев, который так эстетски снял меня в «Избранных», — я до сих пор себе особенно нравлюсь вон на той фотографии, это кадр оттуда... Потом мы вместе сделали «Сукиных детей», Паша гениальный оператор... Ярмольник. Хмельницкий. Многие...

— *«Чтобы помнили» — трагическая, трудная программа. Вам тяжело ее делать?*

— Да, это страшный материал... А профессия — не страшная? Российский актер погибает обычно от водяры, все остальное — производные. А отчего он пьет, отчего черная дыра так стремительно засасывает людей, еще вчера бывших любимцами нации, — этого я объяснить не могу, это неистребимый трагизм актерства. На моих глазах уходили люди, которых я обожал, которых почти никто не вспоминает: Эйбоженко, умерший на съемках «Выстрела», Спиридонов, которого не хотели хоронить на Ваганьковском, потому что он был только заслуженным, а там положено лежать народным... Боже, что за счеты?! Вот и сегодня, когда я хотел сделать вторую программу о Спиридонове, — в первую вошла лишь часть материалов, — мне на ОРТ сказали: не та фигура. Такое определение масштабов, посмертная расстановка по росту, — ничего, да? Гипертоник Богатырев, младше меня на год, рисовал, писал, был страшно одинок и пил поэтому, и работал как проклятый, — после спектакля во МХАТе плохо себя почувствовал, приехала «скорая» и вколола что-то не то... Белов, умерший в безвестности, подрабатывавший шофером, как

его герой в «Королеве бензоколонки»... Гулая, которая после разрыва со Шпаликовым все равно не спаслась и кончила так же, как он... И я стал делать цикл, хотя меня предупреждали, что я доиграюсь в это общение с покойниками. В каком-то смысле, видимо, доигрался: раньше, например, я никогда не ходил на похороны. Как Бунин, который похороны ненавидел, страшно боялся смерти и никогда не бывал на кладбищах. И я старался от этого уходить, как мог, и Бог меня берег от этого — всякий раз можно было как-то избежать, не пойти... Первые похороны, на которых я был, — Высоцкий. Тогда я сидел и ревел все время, и сам уже уговаривал себя: сколько можно, ведь он даже не друг мне, — мы были на ты, но всегда чувствовалась разница в возрасте, в статусе, в таланте, в чем угодно... И унять эти слезы я не мог, и тогда ко мне подошел Даль, который сам пережил Высоцкого на год. Он пришел с Таней Лавровой и выглядел ужасно: трудно быть худее меня нынешнего, но он был. Джинсы всегда в обтяжку, в дудочку, а тут внутри джинсины будто не нога, а кость, все на нем висит, лицо желто-зеленого оттенка... Он меня пытался утешить — да, страшно, но Бог нас оставил жить, и надо жить, — а мне было еще страшнее, когда я глядел на него.

Я всегда обходил кладбища, но с некоторых пор — вот когда начал делать программу — вдруг стал находить какой-то странный кайф в том, чтобы туда приходить. Особенно в дождь. Я брожу там один и прежнего ужаса не чувствую. Меня самого тогда это удивило. Я и сам понимаю, что общение со вдовами и разгребание архивов не способствуют

здоровью. Но цикл делается, я его не брошу. Сейчас вот сниму о Целиковской.

— *А заканчивать «Свободу или смерть»* вы будете?*

— Отснято две трети картины, но мне ее доделывать не хочется. Хотя когда перечитываю сценарий — нет, ничего, кое-что угадано. Угадано, во всяком случае, что происходит с искусством во времена внезапной свободы и куда приходит художник в этих условиях собственной ненужности: у меня он гибнет на баррикадах, оказавшись среди экстремистов.

— *А здоровье позволяет вам снимать? Вообще расскажите, как у вас сейчас с этим, — слухов множество.*

— Сейчас, надеюсь, я выкарабкался, хотя побывал в реанимации столько раз, что это слово перестало пугать меня. Работать я могу и даже пишу помаленьку пьесу в стихах «Любовь к трем апельсинам» — сейчас дописываю второй акт, а ставить ее в Содружестве хочет Адабашьян. Речь у меня теперь не такая пулеметная, как раньше, это тяготит меня сильнее всего, и зрители пишут недоуменные письма, почему Филатов пьяным появляется в кадре. Приходится объяснять, что это от инсульта, а не от пьянства...

* «Свобода или смерть» — сценарий Филатова о диссиденте, уехавшем на Запад и там с тоски примкнувшем к коммунистической оппозиции самого экстремистского толка; начав снимать картину, Филатов — сам автор сценария, режиссер и исполнитель главной роли — вскоре заболел и от замысла отошел. Большой фрагмент отснятого материала показал в своей программе о нем Александр Адабашьян, а киноповесть вошла в сборник «Сукины дети». — Д.Б.

— *Инсульт, насколько я помню, случился у вас в день расстрела Белого дома?*

— Сразу после. Тогда я его не заметил. Мне казалось — я какой-то страшный сон смотрю, Чечня после этого меня уже не удивила...

— *Вы всю жизнь пишете стихи. Вам не хотелось уйти в литературу? Песенный компакт-диск разлетелся мгновенно, а «Разноцветную Москву» поют во всех компаниях...*

— То, что я делаю, к литературе чаще всего не относится. С этим в нее не пойдешь. «Разноцветную Москву» — «У окна стою я, как у холста» — я вообще написал в конце шестидесятых, сразу после Шукинского, и никакого значения этой песенке не придал: тогда многие так писали. Качан замечательно поет мои стихи, они даже по-новому открываются мне с его музыкой, что-то серьезное: диск, м-да... Но я никогда не считал себя поэтом, хотя сочинял всегда с наслаждением.

— *Почему вы взялись за «Любовь к трем апельсинам»?*

— Меня восхитила фабула, а пьесы-то, оказывается, нет. Есть либретто. Делать из этого пьесу — кайф несравненный, поскольку получается очень актуальная вещь, актуальная не в газетном смысле... Я вообще не позволю себе ни одной прямой аналогии. Но в некоторых монологах все равно прорывается то, о чем я сегодня думаю. Тем лучше — я выскажусь откровенно.

— *Кого вы планируете занять?*

— Очень хочу, чтобы играл Владимир Ильин.

— *А кто еще вам нравится из сегодняшних актеров?*

— Я страшно себя ругал, что не сразу разглядел Маковецкого: он у меня играл в «Сукиных детях» — и как-то все бормотал, бормотал... и темперамента я в нем особого не почувствовал, — потом смотрю материал!.. Батюшки!.. Он абсолютно точно чувствует то, что надо делать. Ильина я назвал. Мне страшно интересен Меньшиков, ибо это актер с уникальным темпераментом и техникой. Машков. Я обязательно пойду на «Трехгрошовую оперу» — именно потому, что об этом спектакле говорят взаимоисключающие вещи. Вот тебе нравится?

— *Да, вполне. Хотя сначала не нравилось совершенно.*

— А почему?

— *А там Костя Райкин очень отрицательный и страшно агрессивная пиротехника, звук оружий... Я только потом понял, что все это так и надо. Очень желчный спектакль, пощечина залу.*

— Видишь! А я слышал принципиально другое: что это типичный Бродвей. Надо пойти на той неделе.

— *Интересно, вы за деньги пойдете или вас кто-то проведет?*

— Я не жадный, но как-то мне странно к Косте Райкину заходить с парадного входа и без предупреждения. Я ему позвоню, он нам с Ниной оставит билеты.

шацкая. Я еще на Женовача хочу!

Филатов. Будет, будет Женовач...

— *Что в искусстве на вас в последний раз действительно сильно подействовало? Не люблю слова «потрясло»...*

— Вчера в тридцатый, наверное, раз пересматривал «Звезду пленительного счастья» Владимира Мотыля и в финале плакал. Ничего не могу с собой поделаться. Там гениальный Ливанов — Николай, вот эта реплика его, будничным голосом: «Заковать в железа, содержать как злодея»... Невероятная манера строить повествование. И, конечно, свадьба эта в конце... Очень неслучайный человек на свете — Мотыль. Очень.

— *А кто из поэтов семидесятых—девяностых как-то на вас действует? Кого вы любите?*

— Я сейчас все меньше ругаюсь и все больше жалею... Вообще раздражение — неплодотворное чувство, и меня время наше сейчас уже не раздражает, как прежде: что проку брюзжать? Лучше грустить, это возвышает... Когда умер Роберт Иванович Рождественский, я прочел его предсмертные стихи, такие простые, — и пожалел его, как никогда прежде: «Что-то я делал не так, извините, жил я впервые на этой Земле»... Вообще из этого поколения самой небесной мне всегда казалась Белла. Красивейшая женщина русской поэзии и превосходный поэт — ее «Качели», про «обратное движение», я повторяю про себя часто. Вознесенский как поэт сильнее Евтушенко, по-моему, но Евтушенко живее, он больше способен на непосредственный отклик и очень добр. Впрочем, все они неплохие люди...

— *Вы выходите в свет?*

— Стараюсь не выходить, но вот недавно поехали с Ниной и друзьями в китайский ресторан, тоже, кстати, отчасти примиряющий меня с эпо-

хой. Раньше даже в «Пекине» такого было не съесть: подаются вещи, ни в каких местных водоемах не водящиеся. И у меня есть возможность все это попробовать, посмотреть, — когда бы я еще это увидел и съел? Как-то очень расширилась жизнь, роскошные возможности, даже на уровне еды... Девочки там, кстати, были замечательные: я официантку начал расспрашивать, как ее зовут, и оказалось, что Оля. Вот, говорю, как замечательно: у меня внучка Оля... Адабашьян, как бы в сторону: «Да-а... интересно ты начинаешь ухаживание!»

— *Кстати об ухаживании: Шацкая была звездой Таганки, к тому же чужой женой. Как получилось, что вы все-таки вместе с середины семидесятых?*

— Любимов постоянно ссорился с Ниной, она говорила ему в глаза вещи, которых не сказал бы никто... но он брал ее во все основные спектакли, очевидно, желая продемонстрировать, какие женщины есть в театре. Она была замужем за Золотухиным, сыну восемь лет, я был женат, нас очень друг к другу тянуло, но мы год не разговаривали — только здоровались. Боролись, как могли. Потом все равно оказалось, что ничего не сделаешь.

— *Вы водите машину?*

— Не люблю этого дела с тех пор, как на съемках в Германии, третий раз в жизни сидя за рулем, при парковке в незнакомом месте чуть не снес ухо оператору о стену соседнего дома. Оператор как раз торчал из окна с камерой и снимал в этот момент мое умное, волевое лицо. При необходимости могу проехать по Москве (за границей больше в жизни за руль не сяду), но пробки портят все удовольствие.

— *У вас есть любимый город?*

— Прага. Я впервые попал туда весной шестьдесят восьмого. Господи, как они хорошо жили до наших танков! Влтава — хоть и ниточка, а в граните. Крики газетчиков: «Вечерняя Прага!». Удивительно счастливые люди, какие-то уличные застолья с холодным пивом, черным хлебом, сладкой горчицей... Легкость, радость. Ну, и Рим я люблю, конечно...

— *Ваш сын стал священником, — вам не трудно сейчас с ним общаться?*

— Трудно. Он в катакомбной церкви, с официальным православием разругался, сейчас хочет продать квартиру и уехать в глушь, я ничего ему не советую и никак не противодействую, но некоторая сопричастность конечной истине, которую я в нем иногда вижу, настораживает меня... Он пытается меня сделать церковным человеком, а я человек верующий, но не церковный. И все равно я люблю его и стараюсь понять, хотя иногда, при попытках снисходительно улыбаться в ответ на мои заблуждения, могу по старой памяти поставить его на место. Он очень хороший парень на самом деле, а дочь его — наша внучка — вообще прелесть.

— *Вы назвали себя верующим. Скажу вам честно — в Бога я верю, а в загробную жизнь верить не могу. Или не хочу. Как вы с этим справляетесь?*

— Бог и есть загробная жизнь.

— *А по-моему, я Богу интересен, только пока жив, пока реализуюсь вот на таком пяточке...*

— Да ну! Ты что, хочешь сказать, что все это не стажировка? Что все вот это говно и есть жизнь?

— *Почему нет?*

— Потому что нет! Это все подготовка, а жизнь будет там, где тебе не надо будет постоянно заботиться о жилье, еде, питье... Там отпадет половина твоих проблем и можно будет заниматься нормальной жизнью. Например, плотской любви там не будет.

— *Утешили.*

— Утешил, потому что там будет высшая форма любви.

— *А как я буду без этой оболочки, с которой так связан?*

— Подберут тебе оболочку, не бойся...

— *А мне кажется, что все главное происходит здесь.*

— Да, конечно, здесь не надо быть свиньей! Здесь тоже надо довольно серьезно ко всему относиться! И главное, мне кажется, четко решить, что делать хочешь, а чего не хочешь. И по возможности не делать того, что не хочешь, что поперек тебя. Так что мы, я полагаю, и тут еще помучаемся, — не так это плохо, в конце концов...

Карен Шахназаров

Карен Шахназаров сделал множество отличных картин и заслуживает, я думаю, звания русского Бунюэля. Но его главной заслугой в искусстве я всегда буду считать повесть (не фильм!) «Курьер». Ее уровня, кажется, он достиг только в «Дне полнолуния» с его безумной фрагментарной композицией, парадоксальными межэпизодными связями и настроением светлой и мучительной тоски.

— Карен Георгиевич, мне показалось, что в «Дне полнолуния» варьируются все ваши прежние мотивы, вплоть до прямых цитат из ранней прозы. Это не подведение ли итогов перед тем, как бросить режиссуру и с головой уйти в руководство киноконцерном?

— Нет, что вы. Я ни за что не согласился бы возглавить «Мосфильм», если бы это означало отказ от режиссуры. Больше того, я считаю, что человек неснимающий не имеет права чем-либо в кино руководить. Что касается подведения итогов, — знаете, когда снимешь восемь картин за пятнадцать лет, они начинают тебя теснить, преследовать, что ли. Какие-то их детали все время бродят у тебя в голове. Ну, и ты ощущаешь желание устроить им смотр и благополучно выбросить из головы, все сразу. Вот

такой хоровод наших с Александром Бородянским прежних идей и ходит вокруг меня в «Дне полнолуния». Я отдаю себе полный отчет в том, что прием не мы придумали. Там у нас нет связного сюжета, есть набор как бы случайно сцепленных сценок и диалогов: скажем, идет эпизод в пустыне, над пустыней летит самолет, и действие тут же переносится в самолет... Подобные вещи бывали и раньше, хотя не в такой концентрации. Мне просто захотелось сделать фильм в жанре жизни.

— *А вы думаете, в жизни каждого персонажа можно очертить двумя-тремя репликами?*

— На некоторых, знаете ли, и одной много...

— *Не согласен. Я много фильмов посмотрел в Карловых Варах: как чужое кино — так живые люди, как наше — так типажи, схемы, газетные персонажи...*

— Это наша жизнь. К сожалению, сейчас она пошла так, что во многом свелась к выживанию, сильно упростилась. И большинство героев — действительно типажи, со своими неизменными приметами. Живых людей, не укладывающихся в рамки типажа, гораздо меньше, их я тоже постарался вывести. Но если мы имеем дело с новым русским из бывших советских руководителей, он почти наверняка угрюмый такой тип, тоскующий по прежней жизни, любящий иногда под настроение спеть советскую песню, как у нас... Если речь идет о бывшем аппаратчике высокого ранга, он непременно любит выезды на природу с охотой и прислугой...

Да, мы сейчас типажи. У нас нет времени и сил на сложность, на подлинную глубину. Слишком много нашей жизни уходит на жизнеобеспечение, на

страх будущего, на простейшие заботы, — и к тому же у нас сейчас не прошла еще ирония, эпидемическая ирония последних лет. Я сам человек насмешливый, я сам себе очень смешон бываю, — но когда все человеческое обозначается презрительным словом «пафос»... его теперь и не употребишь без укола стыда... В общем, все мы теперь действительно довольно плоские персонажи. В начале восьмидесятых, когда переменами только-только запахло, было все гораздо глубже и неоднозначнее. А сегодня — да, ходят, сталкиваются и мельтешат люди, каждый из которых определяется одной-единственной чертой. Безработная женщина. Стареющая певица. Спивающийся саксофонист.

— *Усталый режиссер...*

— Собственно, там и непонятно — то ли он все придумал, то ли просто возник в эпизоде и канул.

— *Но при таком мельтешении эпизодов возникает ощущение незаконченности и смутной, знаете ли, тоски...*

— А жизнь и сама по себе вызывает впечатление незаконченности и смутной, знаете ли, тоски. Ничто не завершается, не рифмуется, не стыкуется, особенно в России. Ничто не получает разрешения. Начинается, допустим, какое-то громкое расследование — и тут же вязнет, и нам неинтересно, чем дело кончилось. Возникает скандал — и тут же гаснет. Ни одна реформа не идет до конца. И это такой русский жанр, в котором, может статься, есть свои прелести... Вообще завершенность мне неприятна, от нее веет безнадежностью. Поэтому я предпочитаю открытые финалы, где есть воз-

возможность домысла — может быть, спасительного для персонажа.

— *А мне кажется, что открытый финал, — простите меня, Карен Георгиевич, вы знаете, что я люблю ваши фильмы и повести, — это все-таки слабость художника. Не решающегося что-то договорить — или в чем-то не признающегося себе.*

— Насчет непризнания себе — вы абсолютно правы. То есть более чем правы, это один из законов творчества. Договорить себе все до конца значило бы либо создать шедевр, чудо или, напротив, высказать полную банальность. Доскрести всю эту кашу до дна и обнаружить чистую тарелку. Не думаю, что между шедевром и банальностью оказалась бы большая разница... Всякое удачное произведение — это, как бы сказать, разные степени вашего контракта с самим собой, договоренности о том, насколько вы себе позволяете высказаться. Думаю, что в «Городе Зеро» герою только и оставался открытый финал, и в «Цареубийце» я не вижу иной перспективы: там объяснить все значило бы просто порушить условность замысла. Я как-то договорился с собой: видеть в жизни ровно столько, чтобы оставалось допущение, зазор. Без этого зазора пришлось бы мыслить простейшими категориями: Волга впадает в Каспийское море...

— *Но меня то и настораживает, что при отличной завязке все у вас чаще всего уходит в песок. Это уже начинает мне казаться приемом, особенностью почерка: такой замечательный ход придумали — и не нашли никакого эффектного завершения. Герой остается вечно на полпути.*

— Ну, не думаю, чтобы это было приемом, но и случайностью я бы такой казус не назвал. Это мое представление о жизни — может быть, только моей: грандиозные задатки, а что с ними сделаешь? Жизнь всех нас превращает примерно в одно и то же. Можно только по-разному к этому относиться. Я потому так и люблю «Курьера», что в нем как-то поймано это настроение уходящей молодости, то есть молодости, перестающей быть оправданием. Вот сейчас все было впереди и раскидывался перед тобой какой-то павлиний хвост роскошных возможностей. А вот пошла другая жизнь, и выходит, что вся наша ирония, наблюдательность, умение играть в интересные игры никак не срабатывают. И мы вполне ясно понимаем, что останется нам под старость одно-единственное: задрать голову к небесам и засвистать что-то...

— *«Мальчишеское и до боли знакомое».*

— Спасибо, что помните.

— *И у вас — после девяти фильмов — такое же ощущение?*

— Ну а что они изменили? У меня всякий раз такое чувство, что я главного не поймал. И это чувство, может быть, самое ценное. Потому что вся жизнь — в идеале — и должна проходить в ощущении чего-то главного и невысказанного.

— *В новом фильме получается, что все мы выросли из сороковых—пятидесятых, эпохи Большого Стиля. Рефреном повторяется эпизод в ресторане сталинских времен: все герои только и помнят, как видели там красавицу с офицером...*

— Ну, не знаю, как вы, а мы именно оттуда и выросли. Потому что больше в наше время расти не-

откуда. Это была последняя эпоха (моральных или социальных оценок я сейчас ей выставить не буду), обладавшая цельным стилем. Плохим, хорошим — другое дело: она была структурирована. И меня этот стиль притягивает: роскошные санатории с пальмами, с обязательным гипсовым рогом изобилия, с ампирными корпусами и верандами — «Зимний вечер в Гаграх». Ресторан с вышколенными официантами, с офицерами, которые беспрерывно курят папиросы, приводят каких-то сногшибательных красавиц, а красавицы рыдают или истерически хохочут и внезапно уходят... Это замечательная такая среда, очень искусственная, то есть организованная по законам искусства. Когда вы говорите «панельный дом» — он может быть в вашем сознании населен самыми разными людьми, от пролетария до научного сотрудника. А когда произносите «сталинский дом» — вам тут же рисуются прохладные комнаты, высокие потолки, преобладание зеленых и голубых тонов на лестничных клетках, лепнина, проживающий в квартире профессор или военачальник, черный ЗИС у подъезда, дочка, совершенно беспомощная перед реальностью, бряцает на фортепьянах... Вам даже видится фарфор, из которого пьют чай, щипчики, которыми берут сахар, кровати, на которых дрожат по ночам, прислушиваясь к лифту и ожидая четырех часов утра — потому что после четырех уже, говорят, не приходят... Возникает что-то вроде...

— *Штампа.*

— Ну да, но это и есть жизнь, организованная по определенному эстетическому закону. Есть такой

штамп у нэпа, у шестидесятых, у сталинского ампира.

— *А у нашего времени есть?*

— Я пытался в «Дне полнолуния» его поймать. Сотовые телефоны; перестрелки; бездомные старые псы; удивительно красивые девушки, вечно одинокие, потому что никому нет до них дела... Ночное радио, старики, боящиеся умереть прежде, чем семья получит за них очередную пенсию и тем хоть как-то поправит дела... Беглые и короткие разговоры, длящиеся не дольше минуты. Обрыв связей и полуслучайность встреч. Чувство общего корня, то есть все как бы растут из одной среды, — но полная потеря чувства какого-то общего замысла. Уже нет ощущения, что кто-то все предусмотрел и для чего-то нас передвигает. Или этот замысел стал сложнее нашего понимания.

— *Вы часто говорили и писали, что от всей жизни остается одно воспоминание. Вам и теперь так кажется?*

— Боюсь, от жизни чаще всего остается не больше одного воспоминания. У меня это, наверное, будет, как в «Курьере» — какая-нибудь девочка, с которой я так и не решился познакомиться во дворе.

— *Сейчас страна весь месяц обсуждала захоронение царских останков. По телевизору неоднократно показали вашего «Цареубийцу». Как вы относитесь ко всему этому?*

— Очень много бреда. Для кого-то, может быть, неожиданными стали чудовищные подробности, которые беспрерывно повторяли и обсуждали на всех каналах, во всех газетах... Я это знал еще де-

сять лет назад, и записку Юровского читал, когда мы писали «Цареубийцу», и когда Макдауэлл играл Юровского, мы с ним многократно все обсуждали. Для меня несомненно, что похоронить останки Романовых надо со всеми почестями, что убили их зверски и что это убийство во многом определило судьбу России. А вели они себя в заключении очень достойно. Человека можно судить еще и по тому, как он умирает. Романовы в свои последние дни явили образец мужества, и мы в картине исходили из этого. И тут шум насчет подлинности, неподлинности, экспертиз, разногласий между церквями... Когда устраивают шум из-за таких бесспорных вещей, как необходимость искупить зверство, — бред, бред...

— *Кстати, как вам работалось с Макдауэллом?*

— Это одно из лучших моих воспоминаний. Более послушного актера я не встречал, более гибкого — тоже. Гениальный актер ведь не тот, кто неотразимо красив, а тот, из чьего лица можно вылепить что угодно — хоть злодея, хоть ангела, хоть обывателя. Макдауэлл нужен был для сочетания уязвленности, убежденности, злобы, трусости... Человек, обреченный убить и видящий в этом миссию. И в то же время напуганный масштабом собственного злодейства, которое заставляет его вновь и вновь возрождаться. Зло тем и наказывается, что не исчезает, ему нет ни отдыха, ни покаяния. Это должен был сыграть Макдауэлл. И сыграл, что было почти невозможно. В общем, многие наши звезды ведут себя на съемках гораздо хуже и слушают режиссера вполуха...

— *А с кем вам хорошо работалось?*

— Со многими. С Евстигнеевым. С Машковым. Очень интересно было с Филатовым. С Янковским. Чурикова — чудо.

— *Вы хороший производственник? В смысле — быстро ли снимаете, легко ли укладываетесь в смету...*

— Я нескромно считаю себя хорошим производственником, потому что действительно снимаю довольно быстро и при этом трачу не очень много. «Американская дочь» снята за двадцать дней, последний фильм мы тоже быстро сделали, особенно если учесть, что там семьдесят эпизодов и четыре экспедиции. Включая выезд во Владивосток ради единственного эпизода с танцующей девушкой.

— *А вы действительно туда ездили? Не могли как-нибудь имитировать тамошний пейзаж?*

— Нет, нам нужен был именно долгий план вечернего города над океанской бухтой. Было что-то близкое к жанру нашего фильма — в том, чтобы слетать во Владивосток ради одной сцены.

— *На эти свои качества производственника вы и надеетесь, возглавляя «Мосфильм»?*

— Я не собираюсь быть творческим руководителем «Мосфильма», навязывать кому-то идеи, жанры... Я вообще в должности месяц, так что предпочитаю пока не очень распространяться о сделанном или задуманном. Я надеюсь только, что это меня не изменит. Что ко мне по-прежнему возможно будет запросто зайти — потому что это худшее, когда коллеги ждут в приемной. А в общем, возрождение «Мосфильма» неизбежно, потому что есть огромный спрос на наше кино. Не только старое (в кото-

ром был тот самый цельный стиль), а на новое, про жизнь. Зритель хочет видеть себя, то, что вокруг, радуется любой точной детали — вплоть до троллейбуса знакомого маршрута. Вот про это, я думаю, сейчас и будет русское кино.

А вообще для меня изменится не столь уж многое — я ведь снимаю на своей студии «Курьер», у нас запустились многие молодые, мы существуем восемь лет...

— *Как вы относитесь к малобюджетному проекту студии Горького?*

— С большим интересом, потому что лучше на маленькие деньги ставить спорное кино, чем не делать вообще никакого. Там могут быть свои претензии, согласия-несогласия, но по крайней мере это сделано на нашем современном материале и будет смотреться. А мода на «жанр» — боевик, триллер — она временная, потому что и жизнь рано или поздно успокоится. На «Дне полнолуния» я убедился, что зрителю вовсе не скучно смотреть просто про жизнь.

— *Вы ожидаете каких-то перемен в связи с приходом к власти в Союзе кинематографистов Никиты Михалкова?*

— Я думаю, что Михалков — это фигура, о которой говорят сейчас очень много глупостей. Которого «играют», как короля играет свита, а потом этим же попрекают. Он и сам подыгрывает, но, думаю, иронически, потому что с самоиронией у него все в порядке. Можно по-разному относиться к его картинам, и мне далеко не все в них кажется бесспорным, но то, что он личность, — несомненно.

И собственное поведение режиссирует очень точно. Михалков ни в коем случае не станет диктовать, что надо снимать, а что не надо. Он слишком себя уважает, чтобы опускаться до цензуры. Если его кто-то демонизирует, видит в нем диктатора — это тоже, по-моему, игра, и игра неумная. Лично я никаких идеологических диктатов и революционных перемен не жду. Иное дело, что много будет подбострастия, с одной стороны, и оппозиционной фронды — с другой, — а я ни к тому, ни к другому особенной симпатии не чувствую.

— *А разговоры про то, что он хочет стать президентом?*

— Это кто-то пошутил, три дурака поверили и тридцать три повторяют. Мне, во всяком случае, не кажется, что у него есть такие амбиции. Кому-то хочется опять бояться, кому-то — лебезить, ищется любой предлог...

— *Ваш отец — ближайший соратник Горбачева. Это вам как-то помогло?*

— Вы знаете, когда первым лицом в стране стал Горбачев, я уже всюду писал и снимал, так что помощь как таковая не требовалась. Политическая деятельность отца для меня всегда была где-то там, в сферах... Важнее было его присутствие, его порядочность, его серьезное отношение к жизни. Конечно, на папу из «Курьера» он не был похож.

— *Но жизнь «золотой молодежи» вы знаете явно не понаслышке?*

— Если иметь в виду «золотую молодежь» из «Курьера», то да. Все эти девочки — «Когда я была в Праге...», «В Париже так не носят...». Эту публи-

ку я видел, но вообще никаких оргий, пышности и прочих атрибутов сливок общества в моей молодости не было. А по сравнению с жизнью современного молодого человека я был просто... дитя...

— *Кстати, почему вы так ничего и не написали, кроме «Курьера»? Это, мне кажется, все-таки вершинное ваше достижение, хотя, может, я просто вовремя его прочел — в пятнадцать лет...*

— Почему же не написал, я все свои сценарии пишу сам, вместе с постоянным соавтором и другом Бородянским. Но после «Курьера» были еще какие-то попытки в жанре чистой прозы, не для кино, — я их опять отнес в «Юность», но там не взяли. Это были стилизованные такие рассказы, про любовь, несколько в духе Стефана Цвейга. Где-то они и сейчас лежат — может быть, я со временем к ним вернусь.

— *Когда вышла «Американская дочь», все говорили, что это как-то связано с вашим первым браком, с Аленой Зандер, которая живет сейчас в США...*

— И про Машкова такое говорили, ведь его первая жена тоже тогда жила в Америке. Это сейчас она снялась у него в «Сироте казанской» и вместе с ним сыграла у Балаяна. А тогда... Конечно, жизнь как-то влияет, не может не влиять, но я, ей-богу, тогда снимал не про себя и не про свою мечту похитить ребенка. Мне давно хотелось сделать такую картину — роуд-муви, фильм-странствие, причем с абсолютно разными героями, которым очень трудно друг друга понять. Вроде «Бумажной луны» Богдановича или вот недавнего бразильского «Центрального вокзала». И по-моему, девочка там (маленькая американ-

ка, ей восемь лет было) — настоящее открытие. Они с Машковым составили идеальную пару.

— *Ваша нынешняя жена намного младше вас?*

— Мне чаще всего кажется, что старше, потому что рассудительней. На самом деле я не особенно ощущаю собственный возраст. В каком-то смысле я до сих пор курьер, почему и студия наша так называется. Тот семнадцатилетний курьер, довольно грустный и неприкаянный, который больше любит наблюдать, нежели участвовать, над многим иронизирует, не хочет во «взрослую» жизнь и до сих пор умудряется играть в свои отдельные игры. Вот я и играю — девять фильмов уже. Может, так и получится — за всю жизнь не превратиться в хозяина положения, делать, что хочется, смотреть какие-то сны...

Роберт Шекли

Великий американский фантаст приезжал на петербургский фантастический конгресс «Странник». Его осаждали интервьюеры, от встреч он не уклонялся и ни разу не повторился. Здесь — контаминация нескольких разговоров, записанных на конгрессе.

— *Я начну со странного вопроса: почему не сбылась ни одна антиутопия, на которые был так щедр XX век?*

— Никто и не рассчитывал, что они сбудутся. Когда автор хочет предупредить о серьезной опасности, он бьет во все колокола и выдает самые мрачные прогнозы, лишь бы его услышали. Это не предсказания, а мольбы остановиться, так что все надо делить на сто. И когда поделите, вы уже не будете так уверенно говорить, что ничего не сбылось.

— *Ну как же? Я жив, вы живы...*

— Это временно. Жизнь развивается в жанре антиутопии. Любовь тоже, потому что она кончается. Почти всегда.

— *А в бессмертие души вы не верите?*

— Всю жизнь мечтаю поверить, но никак.

— *То есть религия для вас не существует?*

— Почему, из жизни ее не вычеркнешь... но это игра. Я всю жизнь играю в игры, так что и сейчас не ждите особенно серьезных ответов.

— *Вы начинали в блестящей плеяде американских сатириков. Шекли, Хеллер, Воннегут, Бухвальд — эти имена и сегодня музыка для русского слуха. Сегодня я что-то не вижу в Штатах действительно злой сатиры. Что, зажирела нация?*

— Генерация действительно была ничего себе, сейчас ничего подобного нет. Я могу предложить только одно объяснение, не слишком научное. Социальная сатира — не высший род искусства. С этого хорошо начинать, можно сделать две, три такие книги, но дальше с этого трамплина надо прыгать в какое-то более индивидуальное занятие. Сегодня писатель пробует одно, завтра — другое. Ранний Воннегут был очень хорош, но ему захотелось поиграть в другие игры. Хеллера, чью «Уловку» я очень высоко ставлю, захотелось написать несколько философских романов, ни один из которых я не дочитал. Меня потянуло в абсурд, где я и пребываю не без удовольствия.

— *Вашего постоянного протагониста называют космическим ковбоем, типичным американцем. И сами вы, несмотря на годы, появляетесь в джинсах, в кожанке, много курите, — это тоже ковбойская натура?*

— Нет, чистый имидж. Про космического ковбоя я согласен, про среднего американца — в меньшей степени, у меня и рассказ был про среднего из американцев, которого вычислил компьютер, и этот выбор ему чуть всю жизнь не поломал. Отовсюду

погнали парня — кому нужна посредственность? Смысл жизни ему вернули женщины, желавшие испробовать на себе этот эталон американской сексуальности, вроде платинового метра.

Если вас интересует определение моего протагониста (хотя на самом деле их много), — я сказал бы, что это одиночка, любящий людей. Любящий их вчуже, несколько абстрактно.

— *Вы замкнуто живете?*

— Большинство обмануто стандартным образом американского писателя, — это особенно процвело в шестидесятых, когда возник такой усредненный литератор, заработавший очень много денег и теперь вынужденный постоянно пить. Скука, пресыщенность и дикое количество алкоголя. Это ко мне неприменимо. Пить я не люблю, потому что кайф очень быстротечен, а последствия непропорционально тяжелы. Путешествия привлекают меня не как цель, а как средство: я люблю уехать из Штатов, но только для того, чтобы спокойнее было писать. А так я все время пишу, с шести лет не делаю почти ничего другого. Я уже в пять знал, что буду писателем.

— *А когда не пишется?*

— Все равно пишу. Чувшь ужасную. Эти вещи я так и называю — «not for sale». Совершенно некондиционные тексты, даже не показываю никому. И так — день, два, три, пока не распишусь.

— *Кристи придумывала свои сюжеты, сидя в ванне и грызя яблоки. В чем сидите и что грызете вы?*

— Сажу в кабинете, не грызу ничего. У меня там напротив стола белая стена, сажу и гляжу в нее,

пока не увижу что-нибудь осмысленное. Под музыку. Предпочитаю «Пинк Флойд».

— Но «Пинк Флойд» был не всегда, вы пишете лет пятьдесят...

— Тогда был Дебюсси.

— У вас был очень славный старый рассказ — забыл название... про то, как инопланетяне собирают свой космический корабль из обитателей разных планет и им нужен ускоритель. А ускорителя нигде нет. Им оказывается человек.

— Был такой рассказ, люблю его. Седая древность. Назывался «Специалисты».

— Точно. Почему вы человека назвали Ускорителем?

— Проще всего сказать, что время было такое — пятидесятые годы, ускорение всего... Но это было не совсем так, еще довольно рабское было время, как мне кажется. Просто на его фоне особенно ясно было видно, что можно развить технику до любых пределов, — вот как у них на этом корабле, — а без духа человеческого никуда не полетишь. Spirit, великое дело.

— Среди первых ваших рассказов, которые тут завоевали настоящую славу, — «Терапия», напечатанная в «Иностранной литературе» в середине шестидесятых. Если я правильно его понимаю, вы не верите во взаимопонимание между людьми?

— Коллизию рассказа помню плохо, потому что ему сто лет. Но, видимо, вы его правильно понимаете, так как я действительно думаю, что человек человека никогда не поймет вполне. Преодолимы нравственные, расовые, возрастные и прочие барьеры.

еры, но душу свою объяснить нельзя и понять чужую — тоже.

— *Прямо вы экзистенциалист...*

— Очень их уважаю. Некоторые формулировки Сартра настолько точны и исчерпывающи, что подписываюсь безоговорочно. А самый умный из них был Камю. Его «Миф о Сизифе» — лучшее исследование абсурдности человеческого существования, когда-либо кем-либо предпринятое.

— *Вы что, полагаете его абсурдным?*

— Абсолютно.

— *То-то говорят, что вы циник...*

— Ну, пусть говорят. Живет американец, ему кажется, что все происходящее с ним донельзя серьезно. Безбелковая диета, жена, карьера. Едет в свой офис и думает, что живет. Страшно озабочен регулярностью своей половой жизни. Тут прихожу я и показываю ему абсурдность всего этого в сравнении с чем-то действительно рискованным или просто выворачиваю его жизнь наизнанку, чтобы он увидел, насколько это все смешно. Ему кажется, что я циник, — нормальная оценка...

— *Что, поглупела Америка за последние двадцать лет?*

— Может, и поглупела... Допустим, я скажу «да». И что в этом плохого?

— *Я совершенно не хотел задеть ваши патриотические чувства...*

— Да я не такой фанатичный патриот, просто если средний житель страны поглупел — это, может быть, вовсе и не катастрофа для страны... Я мало озабочен уровнем этого среднего челове-

ка. Живу независимо, политикой не интересуюсь совершенно.

— *В том числе и русской?*

— Тем более.

— *А каких русских знаете?*

— Корженевского, Толстого, Достоевского, Чехова и Гоголя. Первого, четвертого и пятого уважаю особенно.

— *К такой своей русской славе вы были готовы?*

— Никоим образом. На «Страннике» все фантастично, а самое фантастичное — это мои старые романы, перепечатанные на машинке и подаренные мне здесь. Мне все время кажется, что вы сейчас хором воскликнете: «Обознались!» Во всяком случае, первые дни я был уверен, что меня принимают не за того.

— *А первый успех вы помните?*

— В начале пятидесятых несколько моих рассказов прочел Фредерик Пол. Он был тогда литературным агентом, один мой друг нас познакомил. Тот прочел и сказал, что берется продать все, что я напишу. На свою и вашу голову, я ему поверил и с тех пор работаю ежедневно, без выходных.

— *И как строится ваш день?*

— Я встаю в половине седьмого и пишу до девяти, потом завтракаю, — не особенно заботясь чем, — пишу до полудня, гуляю, ем, пишу или придумываю, потом читаю. Читаю массу всякой литературы, главным образом не фантастику.

— *Что, реализм?*

— Реалистов я тоже не очень люблю, мне скучно. Чаще всего социологию, философию, драматургию.

— *Себя перечитываете?*

— По необходимости, если правлю или продолжаю старую вещь. Не без удовольствия.

— *Был коллега, которому вы завидовали?*

— Нет. Я восхищаюсь со стороны, но то, что делаю я, — могу сделать только я. Иногда завидую себе будущему, который уже написал то, к чему я нынешний только подступаю. В принципе я читаю не больше одной фантастической книги в год.

— *Я слышал, в юности вы были довольно рискованным мальчиком...*

— Не больше, а может, и меньше, чем любой молодой человек. Я любил погонять на машине, но почти всегда держал себя в руках. Пил и тогда мало. Реальной опасности подвергался редко, хотя любопытство во мне, по-моему, сильнее страха. Может быть, потому, что я не слишком много значения придаю своей персоне.

— *У вас в прозе много воюют. Вы сами служили в армии?*

— Два года в оккупационных частях в Корее. Это была не война, довольно рутинная служба, я там газету редактировал. Шанс погибнуть был ничтожно мал.

— *А не было у вас чувства вины перед корейцами?*

— С какой стати?

— *Все-таки оккупационные войска...*

— Нет, не было. Мы же там не воевали... И вообще я плохо себе представляю, что такое чувство вины. Оно мне незнакомо.

— *Вы настолько не любите рефлексировать?*

— Нет, self-digging* не для меня. Я вообще довольно редко что-нибудь делаю, только пишу. В том, что

* Буквально — самокопание.

пишу, я обычно не раскаиваюсь. И потом, я уже в том возрасте, когда человек знает, что делает, и не делает того, от чего его впоследствии будет воротить. Что толку совестью мучиться, каков от этого вообще практический эффект?

— *Вы не верите в способность литературы воспитывать читателя?*

— Она меня не волнует, эта способность. О читателе пусть думают моралисты, а я считаю себя художником, причем в самом буквальном смысле. Одни рассказывают истории, другие — как я — рисуют картинки. Я никогда не знаю, зачем здесь тот или иной сюжетный ход и что вообще получится. Я только знаю, что сюда надо бросить одну красочку, а сюда — другую. И будет примерно то настроение, которое мне нужно. Рационально объяснить, что я имел в виду, никогда не получается. Сочинительство мне интересно до тех пор, пока я сам себя не понимаю. Иногда я и рад бы проанализировать свое сознание, но это такой материк, по которому я до сих пор странствую чужаком. Оно продуцирует какие-то истории без всякого моего участия, всегда неожиданно, и в этом вся приятность.

— *Вы согласны, что женщина не может изобрести хороший фантастический сюжет?*

— Полный бред. Еще как может.

— *Но у них же не развито абстрактное мышление?*

— Примитивный сексизм. Вы Урсулу читали?

— *Ле Гуин?*

— Да. Что, это не классика? Жена Генри Каттнера писала лучше Генри Каттнера. И вообще — женщи-

на измысливает такие поводы для ревности, какие мужчине в голову не придут. Их воображение гораздо изоощреннее нашего.

— *Вы упомянули скучного американца, озабоченного своей половой жизнью. Но разве секс — не самая фантастическая сфера нашего бытия?*

— Если не подходить к нему с точки зрения гигиенической или порнографической, — о да, безусловно! Во всяком случае, это самое фантастическое, что может случиться с человеком. Но это не моя тема.

— *Вы трудно пишете?*

— Чаще всего сочиняю рассказ в один присест, иначе есть риск не выдержать интонацию. Некоторые вещи переписаны по семь раз, но их я люблю меньше. Хороший текст идет легко — не следует измерять достоинство литературы количеством переписываний.

— *А еще говорят, — заранее извиняюсь, — что вы очень жадны и страшно следите за копирайтом...*

— Нет, я человек не жадный. Половину своих копирайтов я просто потерял из виду — в частности, российские. Но я так устроен, — и, видимо, большинство литераторов таковы: я не считаю себя профессионалом, если мне не платят денег. И потом, я так много написал потому, что мне надо кормить семью. Это не худший стимул.

— *Но семья из благодарности считает вас лучшим писателем в мире?*

— Отнюдь. Жена вообще не очень любит меня читать, хотя я и стараюсь немедленно ей показывать все новое. Дети любят, но не сказал бы, что они ставят меня выше Диккенса. У ребят есть вкус.

— *Вы надолго уезжали из Штатов. Чем вас привлекает Европа?*

— Я вообще человек скорее европейский, если судить по моим читательским пристрастиям. Мне нравится жить во Франции, в Испании, — я провел в Европе почти все семидесятые. Соскучусь — возвращаюсь. У меня в Европе и друзей больше, хотя я замкнуто живу. А что меня там привлекает — сказать трудно; наверное, утонченность и древность культуры.

— *Многим эта древность кажется дряхлостью. «Закат Европы», все такое...*

— Никакого заката. Европа уравнивает Америку, она ничуть не дряхлее и не слабее.

— *А каково место Азии на этих весах?*

— Я мог бы вам сказать, что она уравнивает Африку... Но я так мало смыслю в азиатских и африканских делах, что мне иногда кажется — Восток пока не играет в мире сколько-нибудь существенной роли. Говорят, что XXI век будет веком Азии. Возможно. Пока это не так. И Африке, я думаю, еще далеко до настоящего влияния на судьбу человечества.

— *Прогнозами, как я понимаю, вы не занимаетесь?*

— Фантастика вообще не имеет отношения к футурологии, во всяком случае моя. Иногда угадаешь, совпадешь, но ставить это целью... Лет десять назад я мог бы запросто предсказать, что холодная война продлится еще век. Сами видите, какой из меня пророк.

— *Вспоминаю ваш рассказ «Four elements», «Четыре стихии», — про человека, в котором воспитатели уви-*

дели потенциального преступника и потому разъяли его на четыре самостоятельные личности. Интересно, какие стихии вы обнаруживаете в собственном характере?

— Этот рассказ получился из строчки Уитмена о том, что он вечно себе противоречит и никогда себе не равен. Дословно не вспомню, но за суть ручаюсь. Я настаиваю (и из рассказа это, по-моему, ясно), что человек, которого не раздрают противоречивые желания, — неполноценен. Человек — одно великое ходячее противоречие. Я — не исключение. Моя вода борется с моим огнем, почвенное спорит с воздушным. Всякая попытка примирить или разъять четыре стихии хуже убийства. Настоящему Ускорителю должно хотеться всего и сразу, жизнь — это перетягивание меня в разные стороны.

— *У вас был рассказ о духе, который стал предупреждать героя об опасностях, а когда тот начал слушаться — число опасностей удесятерилось...*

— Да, помню. На всякую предосторожность находится десяток контрпредосторожностей, так что из этой паутины не выпутаешься.

— *Следует ли понимать, что бояться вообще не следует? Неужели вы и в детстве ничего не боялись?*

— Боялся, а кого это волнует? Ничего вам не скажу о страхах моего детства, это мои дела. Я положил жизнь на то, чтобы бояться только созданий своего воображения, а не каких-то реальностей. На реальность вообще не стоит обращать внимания, если вы хотите прожить полноценную жизнь. Иногда, смею думать, мне удастся напугать читателя. Делаю я это

для того, чтобы он начал бояться литературных чудовищ и перестал трястись перед ничтожествами, в совокупности называемыми действительностью. Какой смысл принимать их в расчет? Литература затем и нужна, чтобы читатель перестал наконец бояться ерунды, которую он принимает за жизнь.

1999

Виктор Шендерович

Этот наш разговор был труден — думаю, не менее труден, чем беседа Путина с журналистами. Я его не причисляю — перед вами, можно сказать, стенограмма.

— *Витя, прежде всего: правда ли, что участников беседы предупредили о нежелательности разглашения ее содержания — а вы тут же пошли и все разгласили?*

— Нет. Но забавно, что ты вообще задаешь этот вопрос, все-таки несколько зная меня. Я вас, ребята, не понимаю. То есть существуют люди, чье мнение меня не задевает: Третьяков, Проханов, к ним добавился Максим Соколов, читать которого мне стало неинтересно — я знаю, что, как и почему он скажет. Но Юрий Богомолов... или ты... Ребята, чему вы радуетесь, откуда это нескрываемое злорадство при виде убиваемого НТВ? Поймите наконец: если НТВ закроют, хуже будет не нам. Гусинский удит рыбу под испанским солнцем и спокойно проудит ее еще семь лет, Киселев не пропадет в Лондоне, да и я, поверь, не пропаду. Хуже будет тем, чьих детей убьют на четвертой и пятой чеченских предвыборных войнах. Тем, кто замерзнет в Приморье или Сибири. Тем, кого насмерть забьют в армии.

Наш народ — в отличие, допустим, от тех же чехов, выходящих на Вацлавскую площадь при малейшей попытке цензуры, — все еще не понял, что между ложью и убийством существует прямая связь. Власть, которая искажает или замалчивает правду, обречена убивать. Пострадает не НТВ — пострадает тетя Маня.

— *Но зачем вы вообще туда пошли?*

— Об этой встрече вообще наворочено страшное количество ни на чем не основанных догадок и прямой лжи. «Будем точны, иначе у нас не получится разговора», — сказал мне множество раз за встречу президент Путин. Например, я перечислил бизнесменов, у которых нет никаких проблем — именно потому, что они лояльны к власти. Абрамович, Мамут, Жириновский... «Будем точны, — сказал президент, — Жириновский не бизнесмен. Он депутат Госдумы. Будем точны: я не назначал Устинова, я его представил, а назначил его Совет Федерации. Будем точны: Устинов получил квартиру не от Бородина, а от Управления делами президента». И другие, столь же принципиальные поправки.

Так вот, об этой встрече. Света Сорокина — на вполне понятной эмоциональной волне — обратилась к Путину с просьбой о встрече. Обстановка, в которой это произошло, тебе известна: Миткову вызвали на допрос по поводу кредитов 1996 года — в это время «Медиа-Мост» вообще не существовал! Все понимают, что нас давят; что нас кусают за все, до чего могут дотянуться зубами. Я ничего не имею против следователя Ложиса, который допрашивал Миткову, — и по нему отчетливо было видно, что

ему неловко, он бы куда охотнее ей руку поцеловал и кофею угостил. Речь идет не о конкретных исполнителях, а об атмосфере. Происходит слив информации о наших ссудах на квартиры, причем иногда эти суммы чудовищно завышены — откуда-то взялись четыре миллиона у Фоменко... В этой ситуации Света поступила эмоционально. Имела она на это право? Имела. Может быть, по зрелом размышлении, при холодном анализе и можно было бы сказать: ходить к президенту бессмысленно. Но бессмысленной, однако, я эту встречу не назвал бы. Перед тем как идти к президенту, все мы встретились и выработали позицию и, хотя Павловские у нас не работают, довольно точно смоделировали все, что там будет. Мы решили: просим — только об одном. Освободить взятого у нас заложника, который сидит за нас, за меня в частности. Мне известно, что «Куклы» и «Итого» вызывают в Кремле скррежет зубовный. Поэтому просить за Титова взялся именно я.

— *Но почему ты виноват больше Киселева?*

— Наравне. Пойми, это не мессианство, но Киселева воспринимают как политическую фигуру, от него другого и не ждут — а я все-таки из другого ряда, это как бы типа искусство...

Я пытался сделать цель нашего прихода внятной. Президент России, говорил я, это не президент Австрии или Швейцарии. Он — царь-батюшка, так обстоит по факту. Вы обязаны говорить, что от вас ничего не зависит, мы это очень хорошо понимаем, но понимаем и то, что — зависит. Увы. Конечно, нам были продемонстрированы голубые глаза, по

полной программе. «Вы же не хотите, чтобы я возродил телефонное право?» — это на нашу просьбу о том, чтобы отпустили Антона Титова, взятого у нас в заложники. О да, мы не хотим возрождения телефонного права, но почему прямо перед нами из кабинета вышел Устинов? «Ситуация с Кохом — чисто экономическая». О да, несомненно, — но почему тогда Кох ездит в Кремль как к себе домой? «Я не могу влиять на прокуратуру» — конечно, мы и не просили влиять. Я выступил с таким, как мне кажется, конструктивным предложением: достаточно просто позвонить Устинову (иногда же до него все-таки можно дозвониться!) и спросить — а что это у вас там за ночные допросы? убийцу, что ли, поймали? И через час Титов будет на свободе.

Так вот: президент, конечно, ни на что не может повлиять... И тогда, в конце встречи, глядя в голубые глаза, Сорокина спросила: «Владимир Владимирович, а гарантом ЧЕГО вы являетесь в таком случае? Где ваши гарантии?» На этот вопрос он, как известная Русь, не дал ответа.

— *Хорошо; в чем были его мотивы?*

— Роскошный пиаровский ход, — хотя глаза были такие голубые, как будто в Кремле не знают даже слова «пиар»... И потом, нам, конечно, деваться почти некуда — но и ему, ты будешь смеяться, деваться не особенно есть куда. Он тоже приперт к стене, потому что политическая составляющая этого дела слишком очевидна. Вопрос, в конце концов, не в том, нарушал или не нарушал Гусинский закон. Вопрос о единообразии в применении закона. Если бы одновременно с Гусинским были арестованы —

по алфавиту — все так называемые олигархи, я бы, может быть... ну, рук не потирал бы — злорадство мне не свойственно, — но поверил бы в искренность намерений. Генпрокуратуру не интересуют бизнесмены Бородин, Волошин, Лесин и многие другие замечательные люди, у которых есть чем привлечь внимание. Если генпрокуратура не знает — пусть позвонит нам, мы расскажем. Про народный автомобиль АВВА расскажем...

— *Ну, Борис Абрамович давно за границей без всяких перспектив...*

— А Александр Стальевич, имевший к АВВА прямое отношение? Кроме того, я бы хотел, чтобы неприятности у Бородина и иже с ним были именно в России.

— *Витя! А если бы победил на выборах не Путин — ты уверен, что в применении закона соблюдалось бы единообразие?*

— Нет, я уверен, что не соблюдалось бы. И тогда я ото всей страшной силы, данной Богом, мочил бы Примакова и Лужкова. Если помнишь, у меня в «Куклах» был сюжет «Их борьба» — о том, как Примаков стал канцлером в Германии. Я убежден, что в случае прихода Примакова была бы полная... да. И тот, кто говорит, что я за Лужкова или Примакова, пусть пересмотрит мои программы тех времен...

— *А чего мне их пересматривать, Анатольевич? Я их и так хорошо помню. И помню, что вся тяжесть удара приходилась на Кремль, Ельцина и «Семью». Есть разница — по морде бить или по попе шлепать. Помнишь программу, где Ельцин был в гробу?*

— Я не смотрел ее. Она не моя.

— *Помню, что не твоя! Киасашвили! Но ты же не будешь говорить, что непричастен к прочим выпускам «Кукол», кроме лично твоих...*

— Абсолютно непричастен! Где нет моего имени в титрах — там нет никакого моего участия. Но подумай сам: если выстраивать какую-то иерархию опасностей, кто опаснее всех? От кого больше всего зависит? От Примакова или все-таки от Кремля?

— *На тот момент — не скажу.*

— По-моему, реальность тебе уже ответила. «Скорая помощь» сначала занимается огнестрельными ранениями, а потом царапинами. Семья была у власти — и потому отвечала за все. Лужков не был у власти — и потому отвечал только за коррупцию московских чиновников.

— *Витя! Но совершенно же ясно, что если бы Лужков пришел к власти — возможность его критиковать исчезла бы как таковая.*

— Если бы мы с тобой разговаривали как два политолога — «Вот две субстанции одного порядка, при одной еще можно дышать, при другой совершенно нельзя», — такой подход имел бы смысл. Но я критиковал власть не как политолог. Я ругал ее за то, что было, а не за то, что могло бы быть... И делал это сугубо добровольно, без всякой ангажированности. Потому что для юмора нужна свобода, нужен кислород в крови — по заказу можно замочить, сосчитать по заказу нельзя...

— *И Киселев не ангажирован?*

— Киселев — говорю сейчас о журналисте Киселеве! — человек с убеждениями. Гусинский вырос-

тил таких личностей на канале именно благодаря своей политике невмешательства.

— *О да. Знал я, Витя, что ты остроумный человек, но что настолько остроумный...*

— Минуточку. Тебе как человеку литературному не надо объяснять, что такое контекст. Так вот, в России — такова реальность — телевизионный канал может существовать только под крышей. Под одной или другой, но всегда под крышей. Работать под ней можно на разных уровнях. Можно демонстрировать «бедро Примакова» или говорить, что денег на вертолет «Черная акула» в Чечне не было, потому что НТВ взяло кредиты... помнишь этот сюжет? Так вот, мы все-таки работали на другом уровне.

— *Это-то хуже всего. Все то же самое, но с благородной миной и в белых перчатках.*

— Ничего подобного! Мы только предоставляли слово Лужкову и Примакову в то время, как два государственных телеканала мочили их, просто — мочили... И звать их, то есть сохранять объективность, была именно идея Добродеева, к которому я отношусь, скажем так, неоднозначно... но в стремлении представить на канале все политические силы, от Зюганова до Немцова, он был совершенно прав. Человек же, который скажет, что мне Примаков симпатичнее Путина...

— *Получит в морду, я понимаю.*

— Нет, он просто дурак. Но что определенные люди в компании поставили на Лужкова и Примакова — я допускаю. Просто это не имеет отношения к предмету нашего разговора.

— *Это спорно, но бог с ними. Скажи: для Кремля НТВ — это однозначно Гусинский?*

— Да, там это синонимы.

— *А для тебя?*

— Отчасти. Сейчас объясню. Меня не занимает вопрос о целях Гусинского. Был ли Гусинский ангажирован? Безусловно! Но я предпочитаю иметь дело с реальностью. НТВ является объективно лучшим информационным каналом — прежде всего. И не устраивает власть не потому, что когда-то поддерживал, допустим, Лужкова и Примакова, а потому, что больше всех правды говорит сегодня. Рейтинг у информационных программ НТВ — объективно — самый большой. И это единственный такой телевизионный канал. Подчеркиваю: телевизионный и в этом смысле опасный для власти. Положим, для меня престижно печатать бумажную версию «Итого» в «Московских новостях», но настоящий резонанс имеет телеверсия. Я мог бы делать у себя дома очень острую стенгазету, очень! Но НТВ — канал, на котором находят себе место новости, о которых другие вообще молчат. Так, вспомним выступление матери погибшего моряка в Видяеве, когда Путину в лицо сказали, что он лжет на крови наших мальчиков. ОРТ показало начало этой речи, РТР не показало ее вообще, целиком — только НТВ.

— *Витя! Ну не будем о «Курске»!*

— Почему?

— *Потому что кто и что тогда строил на крови наших мальчиков — мне очень хорошо помнится! Вы, ваш канал, сделали Путина крайним, и именно это было спекуляцией на национальной трагедии, а не то, что...*

— Минуточку! А Ельцин отвечал за Чечню? За грачевский штурм в декабре 1994 года? Власть во-

обще-то отвечает за все, что происходит в стране. Путин отвечает тем более, поскольку — либо не будучи осведомлен о реальном состоянии флота, либо игнорируя это состояние — решает побряцать оружием и проводит эти учения при разрушенной инфраструктуре. Но я готов был бы признать, что он не разделяет ответственности за «Курск», если бы он немедленно уволил хоть одного человека, который публично солгал. Куроедова, скажем. «Лодка произвела залп и легла на дно» — какова формула? Сигналы! Переговоры с экипажем! Экипажу подается кислород — ты помнишь?! Путин покрывал ложь. Все эти люди на тех же местах. И он стал крайним вполне закономерно. У начальника выбор простой: либо ты отделяешь себя от подчиненного, либо ты покрываешь его — и тогда делишь ответственность.

— *Мне симпатичнее второй вариант.*

— Пойми: меня ничего не связывает с Путиным. Я ни за, ни против. Я обыватель. Но я знаю: где врут — там будут убивать или уже убивают. Это связь прямая. Технологические катастрофы случаются везде — вот тебе «Конкорд». Но если бы кто-то в ситуации с «Конкордом» попался на лжи и эту ложь покрыли бы — ответственность разделила бы именно власть. И ситуация очень проста: сегодня власть в лице президента, министра печати и генерального прокурора, неоднократно попавшись на лжи, занимается уничтожением частной телекомпании, которая ей лгать мешает.

— *А эта телекомпания ведет себя безупречно? А версия о причастности власти к московским взрывам?*

— Нет, будем точны, будем точны! О прямой причастности Путина никто не говорил. Но голова есть, Дима, и я не могу запретить ей думать. А думает она вот о чем: кому выгодно? Масхадову было выгодно взрывать дома?

— *Как дестабилизирующий фактор это могло быть выгодно кому угодно.*

— Могло! Но оказалось-то выгодно вполне конкретному клану. Утверждал ли кто-нибудь, что Путин отдавал распоряжение о терактах? Никогда в жизни! Попробовал бы кто-нибудь! Речь шла о том, что гексоген тоннами завозился в страну в то самое время, когда Путин был шефом ФСБ и секретарем Совета безопасности. В таких случаях преступная халатность — самое мягкое обвинение. И потом... зачем кому-то отдавать какие-то распоряжения? Мне ли тебе рассказывать, как используют фанатиков? Ты что, «Трех мушкетеров» не читал, Фельтона забыл? «Имя, sestra, имя!»...

— *То, как Гусинский кинул Лесина с подписанием шестого приложения — совершенно в духе подворотенных нравов, — это нормально?*

— Ну, ты даешь, Дима! К человеку приходят с утюгом и говорят: вот утюг, вот розетка, подпиши, мужик, дарственную, добром просим. Он подписывает, вырывается на волю и кричит: ребята, меня заставили! я не по доброй воле! И тогда владельцы утюга начинают совершенно искренне возмущаться: он обманул! Он нарушил добрые нравы бизнеса!

— *Ты отлично знаешь, что это было не так.*

— Это было именно так, и я это действительно знаю!

— *А база данных «Медиа-Моста», лежащая на множестве сайтов в Интернете, — это тоже вражеская пропаганда? Слежка за сотрудниками — тоже?*

— В первых же «Итогах», вышедших после изъятия компьютерной базы «Медиа-Моста», было показано: все, что было в этой базе, лежало на множестве компьютерных сайтов. До этого.

— *И кто же это туда положил, интересно?*

— А вот, вероятно, те же люди, что делали обыск у Коли Николаева в квартире. Или у меня.

— *У тебя? Ты об этом не рассказывал...*

— А гордиться не люблю своими проблемами, вот и не рассказывал. Тебе рассказываю. Я следователя вызвал, кстати. Потому что действительно интересно: всю квартиру перерыли, ничего не взяли. Вижу: нашли деньги, нашли драгоценности жены... Ни-че-го не взято! И все перевернуто вверх дном. Полтора месяца назад, в конце декабря. Мы все сняли на пленку, я попросил, чтобы приехали из «Независимого расследования». Кому нужно шарить в моей квартире и не взять при этом ни одного кольца жены, ни одной цепочки дочери?

Но это все мелочи, в конце концов. Что у меня сейчас отец и мать в больнице, — это факт моей биографии. Главное вот что: государство само создало определенные правила игры. Правила абсолютно бандитские. При этих правилах ТВЦ существует под крышей Лужкова, РТР — под крышей Волошина... НТВ создавалось как демократическое информационное телевидение, то есть оно в этих условиях умудрялось говорить максимум правды и сохранять максимум независимости...

— *Секунду! Оно создавалось как демократическое телевидение или все-таки как инструмент политического манипулирования?*

— Ты задаешь все те же вопросы, что и президент.

— *Я всегда догадывался, что он неглуп.*

— Неглуп, очень неглуп. Обзывайся, если хочешь. «Манипулирование» — это можно сказать о любой информационной программе, даже о новостях CNN Теда Тернера. Придумали: манипулирование... Покажи мне хоть один факт вранья! А генеральная прокуратура врет на каждом шагу, и генеральный прокурор — друг Кондратенко и Наздратенко, это они лоббировали в Совете федерации его назначение! Я спросил президента: «Вам рассказать про Наздратенко?» Он ответил: «Спасибо, я в курсе». А следователь Каримов, который уничтожал уголовные дела за деньги? И власть, которая терпит такую генеральную прокуратуру, обвиняет НТВ в манипулировании?!

— *Витя! А кроме как на НТВ, сегодня в стране нет независимых журналистов?*

— Есть. Но они власти не мешают — по крайней мере, пока. Газету «Сегодня», допустим, можно игнорировать. Для этой власти существует только рейтинг. Для нее голоса Сахарова и Пупкина весят одинаково...

— *Да не надо же демонизировать эту власть! Эта власть — нормальный Николай Первый, неизбежный после брата своего Александра, только Николай сумел очаровать Пушкина, а этот вас очаровать не сумел...*

— Не сумел, не вышло у него. Хотя пытался, пытался... Голубые глаза...

— *Но это вовсе не основание чувствовать себя декабристами.*

— Да не чувствуем мы себя декабристами! Мы хотим, чтобы нас оставили в покое. Чтобы дали работать. Позволяем ли мы себе интонационный перебор, скажем так? Да, конечно. Когда у тебя на этаже идет обыск и в это время надо выходить в эфир — это заставляет форсировать голос. Но когда Киселев говорит «Перестаньте давить — мы перестанем кричать», это вовсе не попытка торга. Путин совершенно напрасно делает красивые заявления насчет того, что он не вступает в торг. Мы просто говорим, что тихо убраться нас не получится, — вот и все.

Утверждаю ли я, что Гусинский не виноват? Не утверждаю. Вот прокуроры, вот адвокаты — решайте. Для меня финансовые обязательства, займы, офшоры — каббалистика. Но говорить, что преследование Гусинского не имеет никакого отношения к свободе слова... Я говорю о вполне реальной опасности для России. Я не говорю, что НТВ — вообще независимый канал. Это канал, независимый от власти. И его душат... под аплодисменты демократической интеллигенции.

— *А почему она аплодирует, Витя, — ты не задумываешься?*

— Задумываюсь. Не нахожу ответа. Думаю, отчасти по непониманию ситуации, отчасти из зависти, отчасти по слепоте своей.

— *А не кажется тебе, что своей все более оголтелой позицией вы имеете все шансы реально подтолкнуть Путина к тирании?*

— Скажите, пожалуйста, какой он нежный! К тирании мы его подталкиваем, а у него нет сил противостоять... у твоего президента...

— *Это не мой президент, Витя. Ты меня читаешь, наверное.*

— Твой, твой. И мой тоже. Наш общий, президент всех россиян.

Да, можно было бы обратиться к нему с призывом о милосердии. Но тогда твоя любимая демократическая интеллигенция — и ты в том числе — хором завопили бы: ага, просят пощады у царя-батюшки! Власть не понимает этого языка. Там нравы стаи гиен, с гиенами не говорят о милосердии.

— *Однако ни Лужков, ни Примаков, ни другие вожди оппозиции при этой власти не сели...*

— Не сели, потому что легли! Примаков — фактический советник Путина по внешней политике, Лужков... да что говорить.

— *Как по-твоему — насколько ты успел понять из этой беседы, — он диктатор по природе своей?*

— Конкретнее: что такое диктатор?

— *Хорошо: он Андропов?*

— Чистый и беспримесный. Я не знаю программы Путина. Все, что он говорит, мне очень нравится. Но все, что он делает... Апофеозом его борьбы с коррупцией является назначение Хапсирокова заместителем Волошина. Надо объяснять, что такое Хапсироков? Апофеозом мирного решения чеченского вопроса является отказ от любых контактов с Масхадовым. С кем угодно, вплоть до Басаева, человека, когда-то завербованного ГРУ и получавшего у Бориса Абрамовича деньги якобы

на строительство цементного завода (два с половиной миллиона долларов, каков цемент!). Тогда как именно Масхадов — единственный реальный политик в Чечне. Он обладает авторитетом, властью, знанием ситуации. И за ним лично нет ни единого теракта. Но именно с ним и не хотят иметь дела. Так что декларации о путинских намерениях — пустой звук. А действия его довольно красноречивы.

— *Вот об этом и надо было там говорить. Ему, а не мне.*

— Мы об этом и говорили. О том, что он занят виртуальной политикой и политтехнологиями, окружил себя холоуями, а страна в это время вымерзает, нищает, гибнет...

— *Хорошо, оставим это. Спорить можно бы еще долго, однако вы сейчас под ударом, и это не лучшее время для полемики. Что будет, каков прогноз вашего противостояния?*

— Если от нас отстанут, мы будем существовать и нормально работать. Отстанут от нас не потому, что кто-то смягчится или усовестится, а потому, что они решат: так им выгоднее — по крайней мере сейчас. Но скорее всего — не отстанут. На канал придет Кох. Я после этого уйду немедленно, потому что не могу его видеть. Ни я, ни Сорокина, ни Киселев без работы не останемся. А вот у страны проблемы будут, это точно. Я не стал бы говорить все это, но, тем не менее, моя задача, как и у всякого литератора, — исправление нравов. Я решил, что ты в этом смысле безнадежен. В отличие от Соколова или Леонтьева.

— *Леонтьев — человек с убеждениями, как ты выражаешься.*

— Да, только они меняются очень быстро в зависимости от того, кто платит.

— *А у вас не меняются? Только что Добродеев был отец информационного вещания и светоч истины, а теперь он — подлый наймит государственного телевидения...*

— Стыдно сказать, я некоторое время был как раз в продобродеевской партии на НТВ. Пока не началась перекупка наших людей.

— *А они говорят, что не было никакой перекупки...*

— Конечно, не было! Просто им звонили и говорили: старик, их же все равно закроют. Переходи сейчас, сейчас тебе больше заплатят, чем потом...

— *Откуда сведения?*

— Есть источники.

— *Витя! Вот клянусь, я никогда не брошу в тебя камень. Для меня ты — сам по себе, НТВ само по себе, любить тебя я не перестаяю... Но скажи мне как старший товарищ: что делать человеку, который не может в этом противостоянии взять ни одну сторону? Ведь может же быть такой человек?*

— Может. Он может пить водку. Выключить телевизор. Уехать из страны. Мало ли есть способов устраниваться от реальности.

2001

В «Кофе-хаусе», где я брал у Шендеровича это интервью, к нему подошли за автографом два студента. (У меня потом тоже взяли, чтобы я не обиделся; тактичные дети растут — страсть!) Один попросил расписаться на учебнике по матанализу, другой — в зачетке. Я не выдержал и подколот:

— Впиши, впиши им «Отлично» по дисциплине «Гражданская сознательность»!

Но он не повелся и расписался очень серьезно.

— Жалко, что вас теперь в телевизоре не показывают, а только в кофейне, — сказал один студент.

— А вы поставьте телевизор картонный, прямо здесь, — предложил Шендерович. — Я буду там появляться, разговаривать...

Студенты обещали подумать.

— Скажи: вот сидит вокруг непоротое поколение, как его любили называть. Очень симпатичное, особенно женская его половина. Устраивают тебя эти люди? Или ты хотел другого?

— «Устраивает» — неправильное слово, наверное... Особенно по отношению к женской половине. Волнует — да! Только называть это поколение непоротым не вполне верно: оно поротое.

— Чем?

— А вот этой нашей свободой. Которую успело узнать со всех сторон, в том числе и не самых приятных. У этих людей, кстати, значительно меньше поводов для счастья, чем было у нас. Для моей дочери нормальная идея — подзаработать денег и уехать в Польшу, учить язык. Или в Лондон на каникулы смотаться. А я в первый раз попал в капстрану тридцати восьми лет от роду, это были Штаты. Стою, беспартийный еврей, «треугольником» не утвержденный, на Манхэттене — и я не верю собственным органам чувств. Я — здесь?! Щиплите меня! А насчет этих ребят... Они в отличие от нас просто, наверное, не боятся потерять свободу. Им кажет-

ся, что это навсегда и на халяву, как зубы и потенция. В их милых головах чаще всего нет логической связки между качеством политики и качеством их персональной жизни. Нет понимания, что если в стране появится честный парламент, то через какое-то время не надо будет приходить в больницу со своей ватой и лекарствами. Что если в стране есть свободная пресса, меньше вероятность вернуться из армии в цинковом гробу. А когда эта связь установится — то есть когда это поколение всерьез почувствует разрыв между своими европейскими желани-ями и азиатским устройством государства... — тогда все может оказаться не то чтобы поздно, но гораздо более травматично. А передать свой опыт заранее невозможно — на слово не верят.

— *Ты полагаешь, что в известный момент у непо-ротых — или поротых свободой, в твоей терминологии, — может проснуться инстинкт сопротивления государству?*

— Конечно. Но это дело долгое, и потому пока что к Соловецкому камню выходят митинговать в основном те, кому за сорок. Есть, разумеется, и молодые, — но их мало, и они очень радикальны...

— *И чаще всего неприятны.*

— Почему? Есть вполне симпатичные и умницы. Не знаю, не знаю... Мне гораздо более неприятны конформисты. У нас, увы, почти нет опыта превращения в нацию. Последний опыт датируется августом 91-го... Знаешь, я был в Испании и видел, как люди становятся испанцами. Убили молодого судью, и вся страна вышла на демонстра-ции. И французы умеют вспоминать о том, что они

французы, когда власти наступают на их французские права. А американцы — у них это чувство даже обострено, потому что нация молодая, пассионарная, чуть не из каждого отверстия торчит по американскому флагу, и мне эта их гордость ничуть не смешна — я уважаю ее. Потому что, называя себя нацией, люди имеют в виду приверженность определенным принципам. Этой прививки, боюсь, у наших людей — молодых в особенности — нет. Для них политика — это где-то там, далеко... И по определению грязно. Тут уж наши власти постарались, активно убеждая электорат, что все одинаково хороши — и те, и эти. Кстати, и ты постарался.

— *Ничуть в этом не раскаиваюсь.*

— По-моему, напрасно. Ангелов не было, но одни все-таки двигали общество в сторону некоторых норм (и у них по разным причинам это не получалось), а другие — в сторону расчеловечивания, и у них это получается чаще, потому что на генном уровне именно к этому все готовы. Все! И я. Читаю интервью Владислава Суркова в «Комсомолке» — о том, что Россия в кольце врагов, — и вдруг, в первый момент, ловлю себя не на сарказме, не на том, что врет, сукин сын... — а испытываю самый настоящий ужас: «Ой! Опять! В кольце врагов!» Мобилизационное сознание сидит в каких-то самых архаичных структурах мозга — его ничем оттуда не выбьешь. А миллионы сограждан этими архаичными и обходятся... Насчет же пастырей, ищущих для народа пятую колонну... Я сейчас перечитываю такой роман неплохой, «Война и мир» (кстати, всем сове-

тую; может, обнаружится, что вы, подобно мне, по-настоящему его еще не читали). Там в конце третьего тома есть знаменитая сцена — московский градоначальник Растопчин, прославившийся патриотическими «афишками», отдает на растерзание толпе купчика Верещагина. Так он, градоначальник этот, по Толстому, почти вынужден это сделать... Потому что если не бросить толпе этого «врага», возбужденная толпа, поди, приглядится к самому этому Растопчину, спросит: ну, а ты-то что тут делаешь... со своими афишками... в «Комсомольской правде»?

— *Но и толпа толстовская реагирует, увы, с готовностью...*

— Толпа реагирует любая и, заметь, в любую сторону! Вспомни начало перестройки: Михаил Горбачев сказал — не знаю уж, по каким там политическим и конъюнктурным мотивам, — о приоритете общечеловеческих ценностей. И это привело к тому, что жизнь — не на политическом, а на самом что ни на есть общечеловеческом уровне — стала вдруг переносима. Появилось невероятное количество каких-то благотворительных фондов, добровольных общественных организаций, — хватало и жульничества, конечно, но были и самые настоящие добрые самаритяне, множество чудесно спасенных, бешеное всеобщее желание помочь... Достаточно оказалось двух слов сверху: «Общечеловеческие ценности». Разрешили делать добро...

— *Знаешь, мне кажется, что этот поиск пятой колонны — он не только сверху идет. Он и снизу нарастает.*

— Все нарастает снизу! Все решительно! И коммунизм, и гуманизм, и ксенофобия, и фашизм, и любовь к прекрасному! Вопрос в том, что поощрять. Россия — страна чрезвычайно инерционная. И потому, что большая, и потому, что исторический опыт у нее негативный — сто лет рвут ноздри и хлещут плеткой, потом на десять лет делают перерыв, потом снова тянутся к ноздрям. И толчок, данный стране, — он, как во всякой вязкой среде, очень хорошо распространяется. Нет критичности сознания: телевизор в России появился раньше привычки анализировать слова; сказали — люди поверили... Не все, разумеется. Но те, кого в романе Пелевина называли «ботвой»... а этой «ботвы» всегда три четверти огорода... Я готов понять и пожалеть эту «ботву», она, может, и не виновата в том, что больна, как алжирский бей не виноват в том, что у него под самым носом шишка. Но вот гордиться этой шишкой и настаивать, что в этом и есть тайная красота... По мне, главная вина нынешней власти в том, что она крепко вернула в общественное сознание некоторые советские рефлекссы, всячески провоцирует ксенофобию, оборонное сознание, классовую ненависть. Прямым последствием всего этого очень скоро явится дополнительное ухудшение качества жизни — и не только морального климата, а самых обычных вещей. Но и этой связи — между моральным климатом и качеством повседневной жизни — многие не желают замечать...

— У нас была в девяностые годы свобода печати, и парламент был еще какой. И что-то я не замечал,

знаешь, чтобы качество жизни резко улучшилось — в особенности у бюджетников...

— О, как мне знаком и этот аргумент! Понимаешь, вот была бочка дерьма, пили из нее века напролет, потом вдруг добавили ложку варенья. Попробовали. Невкусно. И теперь варенье виновато! После интервью Солженицына, сказавшего, что демократии не отнимают, потому что ее и не было, тут же, почти хором заговорили о кризисе либерализма. Господи, либерализм-то при чем? Я в этой части совершенно согласен с Солженицыным: демократии не было. Но — был шаг в ее сторону, явный, недвусмысленно и всенародно выраженный в 1991 году отказ от желания жить в бесчеловечной империи с кошмарными приоритетами и синдромом «осажденной крепости»... А демократия — это такая вещь, которая строится не за восемь лет, а уж скорее за восемьсот! И потом, давайте определимся с терминами: когда народу показывают Коха, Татьяну Борисовну, Валю Юмашева и Бориса Абрамовича Березовского и говорят, что это «демократия», — могу понять народ, говорящий, что такой демократии ему не надо. Но другой он не видел! Многие очень постарались, чтобы демократия стала ассоциироваться не с фамилией «Сахаров», а с фамилией «Собчак», причем лучше — Ксения, с черными бриллиантами от Умара Джабраилова... Я в Калифорнии — в совсем недешевом месте — видел асьенду одного нашего хозяйственника первых демократических лет, не очень даже крупного — на фоне Лужкова вообще почти не видно... Совсем немного порулил това-

рищ, но, что называется, успел... И что: по этому вороватому хозяйственнику судить о демократии? Но по такой логике за слово «патриотизм» надо вообще сразу казнить: сколько в России было наворовано под это слово, демократии не снилось! Я не говорю о том, что девяностые годы были хороши, но попытка была правильная. Можно шатко и медленно двигаться в сторону Европы (хотя бы Польши, если до Англии не добраться), а можно на всех парах катиться к Туркменбаши.

— *У меня, кстати, такое чувство, что под нашим Туркменбаши уже трещит трон.*

— В смысле под Ниязовым?

— *Нет, я же говорю — под нашим...*

— Потрескивает.

— *А у тебя нет ощущения, что он — еще далеко не худший вариант? То есть что на смену ему, пока еще как-то сдерживающему своих орлов, может прийти совершенно уже безбашенная сила?*

— «Вслед за серыми приходят черные» — этот великий социологический закон братья Стругацкие вывели в 1962 году, роман «Трудно быть богом». Вывели, правда, скорее интуитивно — технология еще не прослеживалась; неясно было, что серые сами же и пестуют черных, а потом они выходят из-под контроля... Мы все это уже видели — еще по ельцинским и даже горбачевским временам. Тогда Михаилу Сергеевичу (это мне Александр Николаевич Яковлев рассказывал) привели на выбор трех провокаторов, для создания партии, которую в честном бою должна была победить перестроившаяся КПСС после отмены однопар-

тийности. Михаил Сергеевич безошибочно ткнул пальцем в Жириновского. Ну и стали их раскручивать... Оказалось лучшим вложением денег партии. Старая песня: поддерживайте нас, не то придут эти! Одной рукой делаем населению козу, пугая этими, — другой этих же и подкармливаем. Потом эти становятся независимой силой... В настоящее время роль правильной альтернативы, то есть «преемника», играет, надо полагать, Сечин — такой... как бы это сказать... вконец обнаглевший Путин, — а на роль ужасного будущего готовят, кажется, Рогозина. Может, кого-нибудь еще выпустят из рукава... Но у меня на этот счет скромное предложение к россиянам: давайте хотя бы следующим президентом России будет человек, не связанный с КГБ. Сделаем антракт.

— *Однако на смену Путину запросто может прийти не Рогозин. И не кто-то страшный, выкормленный Кремлем. А кто-то действительно страшный, естественного происхождения...*

— Разумеется! Если все вентили завинтить и все цивилизованные, эволюционные возможности влияния на власть ликвидировать, — именно такое и появится. И победит на одной ненависти...

— *Хорошо. А тебя устроил бы Ходорковский в качестве следующего президента?*

— Меня — вполне. Этот человек доказал две вещи. Первая: он хороший менеджер. Вторая: у него есть демократические убеждения. За эти убеждения он сейчас расплачивается годами своей жизни и здоровьем. Мог уехать, не уехал. Мог приобрести лондонский «Арсенал», купить президенту еще одну

яхту... Соревновались бы сейчас с Абрамовичем в любви к ВВП... Скучно же, наверное, президенту ездить на одной яхте! Надо как минимум «недельку» завести — от Потанина, от Дерипаски... А яхты от Ходорковского нет. Ходорковский повел себя не как бизнесмен, а как гражданин. Почувствуйте разницу.

— *А Березовский? Устраивает тебя березовая оппозиция?*

— Как раз Борис Березовский в политике всегда вел себя как бизнесмен и никогда не скрывал этого.

— *Отважное заявление, рад его слышать.*

— Ничего тут отважного нет, и не надо так уж радоваться: история, как писал Юрий Трифонов, — многожильный провод. В ней есть и эта составляющая, и эта, и еще вот такая... Березовский — бизнесмен, но это (как и личная месть отвергнутого) — не единственная его мотивация, я думаю. И если больше никто не дает денег для фонда Сахарова, а он дает, то и спасибо ему! Гусинский, кстати, тоже был очень неоднозначным бизнесменом, но — создал НТВ. Тем и запомнится.

— *Ты говоришь об убеждениях — да, согласен, это вещь хорошая. Но ведь и у Олега Добродеева есть убеждения. И он за них тоже расплачивается.*

— В условиях несколько более комфортных, чем Ходорковский.

— *Но расплачивается!*

— Уже, пожалуй, расплатился — репутацией. Поддержал вторую чеченскую войну. Позволил оттереть своей репутацией грязь с новой власти.

Власти это пригодилось, Олегу тоже, но репутации его на пользу не пошло. Я дружил с Олегом, и эта былая дружба заставляет меня воздерживаться от публичных гипотез — что его заставило так поступить. Он сделал свой выбор, остальное — его дело.

— *Но подобный выбор сделали многие вполне порядочные люди. Ревенко, например...*

— Ну, насчет порядочных — это ведь как раз в процессе эволюции и выясняется, правда? Ревенко прошел путь от талантливого журналиста до среднего звена номенклатуры. Если он этого хотел — мои поздравления. Если нет, если уже понимает, что из него, как из пачки сока через соломинку, вытянули содержимое, а пустышку смяли и выбросили, — мое сочувствие. А номенклатура любого звена мне неинтересна.

— *Кстати, как Евгений Киселев отреагировал на твое открытое письмо по поводу событий в «Московских новостях»?*

— А никак. Что, кстати, и подтвердило мой диагноз. Общественная фигура по определению должна объясняться с обществом. По крайней мере в случае публичных обвинений в профессиональной и человеческой нечистоплотности, что для журналиста синонимично... Но — не отвечает. Плевать хотел. Конвертировал успех «Итогов» (на которые работали десятки лучших журналистов НТВ) в личное влияние и личный статус — и работает по посольствам отцом русской демократии... На здоровье.

— *А ведь вы были командой, любимое слово на тогдaшнем НТВ...*

— Вот этих благородных попреков, пожалуйста, не надо. Еще в моем открытом письме Коху — весной 2001 года — все про эту командность было, полагаю, довольно прозрачно прописано, перечитай. В том числе и про Евгения Алексеевича. Мы уже тогда были заложниками его специфической репутации...

— *Стандартный вопрос, который сейчас всем задают: ехать-то пора отсюда?*

— Ехать отсюда всегда пора. И всегда пора возвращаться.

— *Я серьезно.*

— А серьезно — нет универсального ответа на этот вопрос. Кому-то (для того, чтобы реализовать себя) обязательно надо ехать, кому-то — ни в коем случае... Я хочу жить в России. Не в Византии, заметь, и не в Третьем Риме, а в демократической стране под названием «Российская Федерация». К тому же... Я не бог весть какая фигура, при всем при том для некоторых людей, наверное, мое мнение... и поведение... что-то значат. Если я уеду — это для многих будет определенный сигнал. И потом: отдавать страну на откуп этим серым негодьям... — с какой стати?

— *Представь, что звонит тебе сейчас по мобильному Путин и говорит: «Виктор, я был не прав». Твои действия?*

— Скажу: «Владимир Владимирович, выйдите, пожалуйста, на Лобное место и оттуда — еще раз и громче». Но слов покаяния от него, боюсь, никому и никогда не услышать. Хотя бы потому, что Владимир Владимирович, судя по всему, убежден

в своей правоте. И по чекистским блатным понятиям, следует признать, он таки прав...

— *По твоей новой книжке — «Изюм из булки» — мне показалось, что ты стал... не знаю, как это сформулировать. Добрее, что ли... Злости меньше, обиды меньше, больше сострадания к стране...*

— Что такое «страна»? Я не могу оперировать такими размытыми понятиями. Слава богу, я достаточно по ней поездил — и в прежнем варианте, от Воркуты до Ташкента, и в новом, от Петропавловска до Израиля. И я знаю, какая она разная. Есть некоторое количество людей, читавших те же книжки, что и я, — вот это моя страна. К ней и адресуюсь. Что до обид... Если ты сравниваешь с предыдущими книжками, скажем, с очерком «Здесь было НТВ»... То была чистая публицистика, свежая горячая рана... А это уже мемуары, промежуточные итоги. Подводить их с обидой и раздражением — это как-то... глупо, что ли. Мне не хотелось бы думать, что я уже впал в сенильный возраст — эти радости у меня впереди. То есть пока что, кажется, я с годами не глупею.

— *Роман написать не тянет?*

— Ни-ни! У меня писательское дыхание короткое; там, где у нормального прозаика заканчивается вступительное описание природы, у меня исчерпывается сюжет. Зачем увеличивать число людей, занятых не своим делом? Их уже и так достаточно, с президента начиная...

— *У тебя дочка уже большая. Ведет в Интернете так называемый «Живой Журнал», неплохо написанный. Только очень он у нее депрессивный какой-то, ты не находишь?*

— ЖЖ — замечательная информационная среда, вообще очень интересное пространство, если описывать, конечно, не только свой быт... Депрессивный? Нет, не думаю. Он печальный, да. Печаль вообще сопутствует рефлексии. А ведение дневника, особенно публичного, — это и есть рефлексия, не так ли? Но какой-то особой депрессии я в своем ребенке пока не замечал. Она уже большая, занимается социальной антропологией. Иногда что-то мне пересказывает с лекций... Восхитительно интересно! Вот что я бы в школе велел преподавать! Чтобы класса с шестого человек помаленьку осознавал себя частью невероятно разнообразного и сложного мира...

— *Мне кажется или ты перестал быть стопроцентным атеистом?*

— Вопросы веры — это вопросы терминологии. Скажем так: в посредниках по-прежнему не нуждаюсь. А этика Ветхого и Нового завета — она, надеюсь, большими кусками во мне застряла давно...

Александр Яковлев

Сколько было смешных словосочетаний, Господи помилуй! И смешных титулов! Александр Николаевич Яковлев удостоился всех: прораб духа, прожектор перестройки, агент влияния, могильщик СССР, архитектор демократии, мистер гласность.

— Александр Николаевич, российский парламент многократно доказал собственную ненужность. Может, нам без него будет лучше?

— Разогнан президентской властью может быть почти любой парламент. Или вы думаете, что японские, например, парламентарии могут три раза подряд безнаказанно проваливать премьера? Нет, Дума нужна, хоть такая, — беда только в том, что коммунисты в тех или иных модификациях составляют две трети депутатов. Коммунисты необходимы Ельцину, они его гарант: если бы не Зюганов, кто знает, как закончились бы выборы позапрошлого года. Лебедь — куда более сложный конкурент. Так что у Ельцина и коммунистов симбиоз, они взаимозависимы, а пока эта публика составляет парламентское большинство, никакой законотворческой деятельности ждать не приходится. Мы находимся на уровне девяностого года. Россия проиграла две войны, а военной реформы нет...

— *Почему две?*

— Афганскую и чеченскую; или вы афганскую считаете нашей победой? Судебной реформы опять-таки нет, а ведь мы нация жалобщиков, наш девиз — «барин нас рассудит». Раньше в функции барина выступал обком, туда бежали с жалобами на неверность мужа и склочность соседей, — теперь все тянутся в суды, а в судах из-за чудовищной организации их работы и двусмысленности любого закона дело рассматривается годами, как в средневековье. Про земельную реформу, про гарантии государства для внешних инвестиций я вообще не говорю. В начале девяносто первого я с несколькими единомышленниками подготовил проект по шестнадцати первоочередным законам и подал его Горбачеву. Там было все перечисленное плюс еще несколько полезных вещей, но Горбачев был тогда одержим идеей союзного договора. В результате он не успел, а у тех, кто после него, совсем другие заботы.

— *Вы помните свое первое впечатление от Ельцина?*

— Ельцин по складу характера ортодокс. Вместе с тем, я помню, он верил в необходимость перемен, но кто же не верил? Это забылось, затерлось временем, а тогда степень отвращения к советской действительности была у всех примерно одинакова. Но перестройка (как, впрочем, и пугающая вас реставрация) складывается из двух вещей: первая — усталость от абсурда, а вторая — желание и способность делать что-нибудь новое. С усталостью тогда все обстояло нормально, с готовностью действовать по-другому — значительно хуже. Так что и сегодня,

сколько бы люди ни ругали ситуацию, они отнюдь не торопятся назад.

— *А Горбачев не торопился вперед...*

— Не скажите. Горбачев безоговорочно превосходит Ельцина — хотя бы по человеческим качествам. Он обучаем, оперативен, умен...

— *Не тоталитарен...*

— Ну, тоталитарна всякая власть, иначе она не власть. Но Горбачев способен выслушать чужое мнение и скорректировать свое. Горбачева испортил Запад.

— *Я думал, он его, напротив, спасал...*

— Скорее губил. Там Горбачев вызывал восторг — все, что бы он ни делал, принималось на ура. В результате он к девяносто первому году перестал чувствовать ситуацию. Ему казалось, что все идет как надо. Инерция — первый враг действующего политика.

— *У меня есть подозрение, что к середине девяносто первого он был очень не прочь навести железный порядок, только чужими руками...*

— С одной стороны, он категорически отказался ввести чрезвычайное положение в экономике, как ему ни нашептывали. Я дословно помню его фразу: «Что ж, у каждой шахты часового ставить?» С другой — он дважды проталкивает через Верховный Совет Янаева. Премьером назначается Павлов. В «Правду» из «Учительской» перемещается нынешний спикер Селезнев, и «Правда» приобретает совершенно оголтелый характер. Наконец, я сам дважды открыто предупреждал его, что неизбежна попытка переворота: один раз мы говорили на эту

тому в апреле девяносто первого, другой — в начале августа. Он не поверил. И все-таки я не думаю, чтобы эта шайка-лейка действовала с его санкции. Просто они поймали момент, когда он колебался.

— *И могли победить?*

— Да ну, глупости. Август 1991 года — вовсе не та веха, какую из него пытаются сделать. Никто никого не победил. Одна команда не вышла на поле, и ей засчитали поражение. Вы представляете Янаева в качестве главы государства?

— *Павлова представляю.*

— Павлов — хронический алкоголик.

— *Крючков?*

— Это вообще не политик. Он никогда вам не сможет объяснить, за что он любит социализм и не любит, например, евреев. Это у него на каком-то зоологическом уровне происходит. Кроме того, он неопрытен в быту.

Никто из них, дорогой друг, никто не мог претендовать на первые роли в государстве. Но вся эта история положила конец эпохе Горбачева, а это уже серьезная беда. Я думаю, Горбачев вполне мог еще некоторое время находиться у власти и успеть осуществить хотя бы первые преобразования. Потому что с воцарением Ельцина возобладал очень примитивный взгляд на вещи: новая экономическая система сложится сама. Нужно дать работать каким-то стихийным силам, главное — не мешать им.

— *Я даже помню какую-то печатную полемику: главная заслуга Ельцина в том, что он НЕ МЕШАЛ работать рыночным закономерностям.*

— Ну вот: если им не мешать, то и складывается то, что мы имеем. Как ни грустно это звучит, но сам собой в обществе может установиться только блатной закон. Своего рода социальный дарвинизм, при котором выживает не столько сильнейший, сколько худший. А мы надеемся, что паханы наедятся, что мафия цивилизуется... Ну и что? Природа-то их не изменится, вот в чем дело. У нас нет сейчас никакого механизма, который позволял бы прорваться в государственное управление действительно талантливому человеку. Отсюда и массовое возвращение в большую политику экс-комсомольцев и экс-коммунистов.

— *Кстати, а с бывшими членами Политбюро вы видите?*

— Честно говоря, ни малейшего желания. Симпатизирую Шеварднадзе. Хорошо знаю Примакова — он совершенно не изменился еще с тех времен, когда оба мы были директорами институтов. Он — востоковедения, я — мировой экономики. Его последовательность в какой-то мере даже достойна уважения. Он, например, как считал, что мы продешевили с объединением Германии, так и до сих пор на этом стоит.

— *Скажите, а как получилось, что первым человеком в государстве оказался Горбачев? Я слышал, вы лично были к этому причастны...*

— Ну, я не преувеличиваю своих скромных курьерских заслуг. У Горбачева был один реальный конкурент — Гришин, но у него по-настоящему шансов не было. На Горбачева ставило большинство ЦК, все понимали, что он из самых перспектив-

ных и грамотных людей... Опасаться стоило только старых зубров, лидером которых считали Громыко. Я пошел к нему в надежде убедить не выступить против Горбачева. Андрей Андреевич намекнул, что засиделся в МИДе и давно видит себя на посту председателя Президиума Верховного Совета. Я с этим пошел к Горбачеву, и тот со своей стороны сказал, что всегда мечтал работать с Андреем Андреевичем. В результате, когда зашла речь о преемнике, Громыко всем на удивление первым предложил Горбачева.

— *Он вообще был человек непростой, как тогда говорили...*

— Я Громыко хорошо знал — в частности, когда я в семидесятых был фактически сослан послом в Канаду, он всякий раз, летя в Нью-Йорк, у меня останавливался. Мы встречались за обедом — я с женой, он с женой, больше никого. Двойственность этого человека меня поражала: с одной стороны, ортодокс и почти сталинист, с другой — отличная реакция, хороший английский и фанатичное увлечение историей русской общественной мысли. Однажды у нас зашла речь о только что опубликованной книге Пикуля «У последней черты»: она в сокращении печаталась в «Нашем современнике». Громыко поинтересовался моим мнением. Я честно сказал, что в историческом смысле это довольно дилетантская компиляция из хорошо известных источников, а пронизано все кондовым антисемитизмом, без всякой почти маскировки. Громыко, словно сам себе удивляясь, сказал: знаете, а ведь и мне так показалось! Изложите-ка ваши соображе-

ния в виде записки! Я набросал перечень претензий к роману, и его потом обсуждали на ЦК: я помню облегчение в кругах родной интеллигенции, когда Суслов обругал откровенно черносотенную книгу.

— *Возвращаясь к восемьдесят пятому году: вы не допускаете мысли о том, что СССР мог преспокойно существовать в своем прежнем виде?*

— Нет, есть убедительная книга Амальрика «Досушествует ли Советский Союз до 1984 года» — конечно, я ее тогда не читал, но все это носилось в воздухе. Страна была замилитаризована до абсурда: семьдесят процентов всех денег уходили на вооружение. На жизнь оставалась треть. В Политбюро не имели даже приблизительного представления об истинных масштабах этой милитаризации. Думаю, если бы не это, у каждой рядовой семьи сейчас было бы по двухэтажному коттеджу.

— *Есть версия, что Андропов собирался развязать третью мировую — в частности, в книге Соловьева и Клепиковой...*

— Не думаю, что лично Андропов. Просто концепция российской внешней политики была такова — тут не надо особо утруждать себя доказательствами. По-вашему, танк — это средство обороны? А мы по количеству танков превосходили все страны мира. А понтонные переправы? А шесть тысяч боеголовок? Для обороны достаточно десяти, если, конечно, не промахиваться... Разумеется, вся советская военная машина была ориентирована на то, чтобы развязать войну. Иначе зачем шестимиллионная армия? Для ядерного сдерживания, может быть? Впрочем, армия-то свое дело делала. Через

нее, как через мясорубку, ежегодно прокачивалась самая активная и здоровая часть населения, чтобы вернуться оттуда с твердым пониманием: инициатива наказуема, сила есть право, унижение есть норма... Это была такая школа жизни для всех. Почему, собственно, у нас и наемной армии нет до сих пор, и военная реформа стоит: надо же молодым где-то проходить курсы унижения и жестокости!

— *Между прочим, чем больше ругают Ельцина, тем крепче в народе убеждение, что Андропов начинал все правильно, только не успел.*

— Он не успел, и в силу этого у народа не было времени его разглядеть. У меня с Андроповым были очень плохие отношения, он еще в бытность мою послом в Канаде регулярно предлагал меня заменить, потому что я, по его мнению, недостаточно убедительно прикрывал резидентуру. Это вообще было для меня мучительно — постоянно врать, при моей личной дружбе с Трюдо. Громыко и защищал меня, используя этот аргумент: ни у одного больше посла нет таких отношений с премьер-министром! Конечно, мне было стыдно, когда ежегодно из страны высылали одного-двух сотрудников посольства (я вынужден был писать возмущенные ноты), а один раз их вылетело сразу тринадцать! Тогда одна канадская газета написала, что в посольстве СССР все шпионы, кроме Яковлева. Я даже послал им обиженное опровержение: что это значит? вы меня считаете человеком без способностей?! Они очень веселились...

Андропов был классический неосталинист, деливший партию на большевиков и коммунистов.

Коммунисты — это приспособленцы, аппаратчики, а большевики — железное ядро, фанатики. Ни Западу, ни социалистическому лагерю он не доверял в принципе, помня свой венгерский опыт. Кстати, и насчет Афганистана решающий нажим принадлежал ему. Никакой перестройкой не пахло, разило репрессивным социализмом образца тридцатых, почему и началось с облав. Одну такую облаву он попытался устроить у меня в институте: я прихожу и вижу около вахты нескольких молодых людей в костюмах. Стоят, фиксируют опоздания. Я тихо интересуюсь у вахтеров: кто пустил? Они отвечают: распорядился ваш заместитель, это из райкома... Я спрашиваю: товарищи, в чем дело? Они в ответ: «А вы не понимаете? Идет проверка состояния трудовой дисциплины. И вообще — кто вы такой и почему опаздываете?» Они, понимаете ли, не смекнули, что я директор. Я при них вызвал того заместителя по хозяйству, который их велел пустить, — трус был ужасный, — и объявил ему выговор, а их попросил вон. На следующий день помощник Андропова, Вольский, сказал мне, что я правильно сделал.

— *Аркадий Вольский? Нынешний предприниматель?*

— Да, он работал тогда у Андропова.

Вообще все разговоры о том, что вот мог бы еще Советский Союз существовать себе по-прежнему, очень меня забавляют. Ну представьте: проходит еще четыре года, и тут Интернет! Что с этим сделаешь? Если бы советская империя не была уничтожена перестройкой и гласностью, она была бы куда быстрее уничтожена Интернетом, только попытайтесь вооб-

разить появление сети в рамках тоталитарной идеологии. Замкнутые империи обречены, от глобализма никуда не денешься. Так что я преклоняюсь перед нашим народом, я боготворю его — за тот инстинкт перемен, который ему задолго до восьмидесят пятого подсказывал: пора переделывать страну.

Пора начинать думать в новых категориях: вот вы говорите, что боитесь политической цензуры. Но это смешно, ей-богу: при наличии Интернета — какая цензура? У нас в Фонде защиты демократии, коего я председатель, задержали на таможне несколько CD-дисков с нужными программами. Так мы и скандалить не стали, плюнули и через час скачали себе все эти программы без всякой таможни. Это и есть глобализм. Другое дело, что Интернет несет опасности ничуть не меньшие, чем цензура: это прежде всего унификация культуры, снижение ее планки. Культура становится доступна для всех и, главное, лишается отличительных местных черт. Не говоря уже о том, что всякий имеет возможность засорять информационное пространство графоманией.

Но в этом новом мире предстоит жить не мне и даже не вам. Мы, несмотря на разницу в возрасте, — старые дети, играющие в старые игрушки: диктатура, парламентаризм, цензура, гласность, права... В глобальном мире будут жить новые люди.

— *Это кто же, например?*

— *Мой младший внук, ему сейчас пять лет.*

— *К вопросу о светлом будущем: вы можете хотя бы приблизительно спрогнозировать предвыборную ситуацию 2000 года?*

— Я не думаю, что Ельцин пойдет на эти выборы. Гриша Явлинский, который начинал при мне и, смею думать, не без моей помощи, — человек несомненно одаренный, но делает сейчас опасный крен, перетягивая одеяло на себя. Он начинает выглядеть самым честным, бескомпромиссным, незапятнанным (его партии при этом вообще не видно) — в общем, впадает в самоупоение. Опасен Лужков. Опасен в том смысле, что у этого человека появилась иллюзия, будто можно сохранить демократию, управляя при этом авторитарными методами. Он уже бесстрашно демонстрирует кулак. Это началось, когда он еще при Попове отвечал за снабжение Москвы овощами. Сегодня он использует патриотическую демагогию, но не в ней дело: он выстраивает себе имидж сильного руководителя. А при руководителе, опирающемся на кулак, в стране не будет ни свободной экономики, ни сильного закона. Как мэр он хорош, как президент — пугающ. Лебеда я глубоко не уважаю. Прежде всего — за лживость. Он в своих мемуарах приписал себе какую-то речь на двадцать восьмом съезде, которого был делегатом, — в ней он якобы разоблачал меня... Да никакой он речи не произносил, крикнул из зала: «Сколько у вас лиц, товарищ Яковлев?!» Я ему тогда отвечать не стал — ну что я буду на каждый крик из зала реагировать? — а сейчас мог бы с полным правом спросить: а у вас, господин Лебедь? За ним не раз уже замечены предательство, ложь, манипулируемость... Из тех, у кого есть реальные шансы выиграть выборы 2000 года, мне не нравится никто. Поэтому, если

бы меня спросили, я бы посоветовал не откладывая раскручивать другие кандидатуры — более приемлемые для мыслящей части страны, но привлекательные для остальной ее части. Если нужен генерал — пусть это будет Николаев, а не Лебедь: он тоже, конечно, замечен в патриотической демагогии и любим частью патриотов, но это уж непременная часть генеральского имиджа, а человек он порядочный и образованный. Я не исключаю, что хорошим президентом для России мог бы стать Шаймиев...

— *Не пройдет. Национальное меньшинство.*

— Одного нацмена тридцать лет терпели, да с каким энтузиазмом!

— *А у Селезнева есть шансы?*

— Селезнев до такой степени посредственность, что говорить об этом человеке всерьез я не могу. Когда-то его из главных редакторов «Комсомолки» готовили на пост первого секретаря ЦК ВЛКСМ. Особенно усердствовал орготдел ЦК КПСС — самый консервативный. Я тогда решительно воспротивился, потому что могу уважать неслгибаемого ортодокса, как бы враждебен он мне ни был, но человека без убеждений уважать не стану.

— *Зюганов?*

— Нет, это пройденный этап. Он и сам не допускает мысли о победе.

— *В официальную политику вернулся Березовский (неофициальной он не покидал). Как вы к нему относитесь?*

— А что, с уважением. От друзей-математиков я знаю, что он отличный специалист в своей об-

ласти. Он гениально считает комбинации и может принести большую пользу на государственной службе.

— *Мы вполне успели убедиться, что у большинства населения короткая память: абсурд зрелого социализма забыт, вас наверняка постоянно ругают за развал великой державы и за пролившуюся кровь...*

— Я уже привык быть агентом влияния. В каком-то смысле я им и был. Так и напишите.

— *Сенсация.*

— В 1985 году, после семидесяти лет самоубийства, когда страна уничтожала свой мозг, истощалась бешеной милитаризацией, тупела, нищала, становилась грозой и посмешищем мира, — всем без исключения было ясно, в какой бездне мы находимся. И если разрешить человеку вслух говорить об этом значит быть агентом американского империализма, то я агент. Если забота о правах человека — западная диверсия, я диверсант. Если покуситься на всемогущество органов значит предать свою Родину, то у нас с моими обвинителями разные понятия о Родине.

Я сегодня счастливый человек, делайте со мной что хотите. Да, ни одна из необходимых реформ не проведена до конца, — но разве это компрометирует демократию как таковую? Россия — свободная страна, и перемены в ней неизбежны, это главное. Назад ее не загонишь. Все это можно было сделать быстрее, безболезненнее, лучше. Не получилось. Но это не значит, что я от чего-то отрекся. Несмотря на нищих в переходах, на войны на окраинах, на беженцев, на безработицу, на новых русских со все-

ми их прелестями — сегодня страна все-таки лучше, чем пятнадцать лет назад. Она все равно построит нормальное общество. Только можно начать это делать сразу, а можно от противного. У нас будет от противного.

— *К вопросу о короткой памяти народа: как к вам сейчас относятся люди, в восьмидесятых всецело зависевшие от вас? Редакторы, журналисты, политики?*

— Я всегда знал, кто искренне ко мне расположен, а кто льстит. Люди, когда-то присылавшие мне свои книги с во-от такими автографами, совершенно обо мне забыли. Меня не пригласили на последний съезд Союза журналистов. Потом извинялись: это девочки в секретариате вас забыли... Ну, говорю, какие же претензии к девочкам! А те, с кем я дружил и кого любил, остались моими друзьями. В первую очередь Григорий Бакланов и Егор Яковлев.

— *Вы занимаетесь сейчас только фондом?*

— Нет, я еще возглавляю комиссию по реабилитации жертв репрессий. Но вы правы — главные мои интересы связаны с фондом. Мы задумали сорокапятитомную серию: белые пятна советской истории. Уже вышли пять томов, в том числе Кронштадт, дело Молотова—Маленкова—Кагановича... Потом будем издавать серию внешнеполитических секретных документов. Сейчас нам передали архив Сталина: спасибо. Как и в любом архиве, там много неинтересного, но переписка, например, с Кагановичем — это что-то фантастическое. Прежде всего по дикой жестокости, которую проявляет Каганович

(да и другие члены сталинского правительства) ради доказательства своей преданности. Все это мы будем публиковать.

— *Сейчас многие гордо носят свои советские награды. Например, звание Героя Социалистического Труда. А вы?*

— А я не Герой Социалистического Труда. Даже ордена Ленина у меня нет, хотя я часто писал представления на своих подчиненных. У меня орден Красной Звезды — хороший офицерский орден, орден Боевого Красного Знамени — тоже уважаемая боевая награда, медаль «За оборону Ленинграда», орден Дружбы народов... а из новых — орден Сергия Радонежского. За содействие в возвращении Русской православной церкви нескольких монастырей. Хотя я не очень люблю официальное русское православие.

— *Я слышал, вы написали книгу о буддизме, ее издал «Вагриус»... Но она практически недоступаема.*

— Да, она вышла три года назад и быстро разошлась. Видимо, это действительно для многих была неожиданность, но я симпатизирую буддизму. И давно. Мое «Постижение» не претендует ни на какую полноту. Это рассказ о том, что буддизм дал лично мне. Кроме того, еще в Канаде я интересовался живущей там общиной духоборов. О них тоже есть в книжке.

— *Родная интеллигенция вам за эти годы не опротивела?*

— Ох, как у меня иной раз не хватает злости при виде родной интеллигенции! Как только она не предала себя за это время! как только не лизала власть!

как только не сдавала своих позиций! В каком-то смысле интеллигенты, больше всех заинтересованные в перестройке, часто вели себя хуже всех. Ноют сейчас, что культура избавилась наконец от государственного гнета и патронажа. Очень легко все забыли и ударяются в самую бессовестную ностальгию. И все-таки я уверен, что именно интеллигенция — лучшая, надежнейшая ее часть — и есть главное сокровище России. И когда ей дали наконец свободу говорить, думать, писать, — это были лучшие годы нашей жизни.

1999

Литературно-художественное издание

Дмитрий Быков

И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

В ы п у с к 2

Выпускающий редактор

Д.В.Савиных

Корректоры

Г.В.Заславская, Л.Ф.Уланова

Подписано в печать 16.07.2009

Формат 84x108/32

Тираж 3000 экз.

Заказ № 5285

ЗАО «ПРОЗАиК»

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 3

Телефон: (495) 795-01-46

Электронная почта:

prozaic@prozaic.ru

По вопросам реализации обращаться:

Книжный Клуб 36.6

107078, г. Москва, ул. Новорязанская, д. 8А, стр. 3

Телефон: (495) 926-45-44

Электронная почта:

club366@club366.ru

Информация в Интернете:

www.club366.ru

Отпечатано с готовых файлов заказчика в

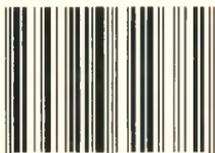
ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати»

432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 14.

Дмитрий БЫКОВ
И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ

Юз Алешковский
Аркадий Арканов
Александр Баширов
Василь Быков
Вера Глаголева
Григорий Горин
Даниил Гранин
Борис Гребенщиков
Георгий Данелия
Татьяна Друбич
Илья Кормильцев
Лев Лосев
Ирина Муравьева
Булат Окуджава
Ольга Окуджава
Валерий Попов
Александр Проханов
Сергей Соловьев
Игорь Старыгин
Леонид Филатов
Карен Шахназаров
Роберт Шекли
Виктор Шендерович
Александр Яковлев

ISBN 978-5-91631-038-2



9 785916 310382